

АЛЕКСАНДРА ЗВОЛИНСКАЯ \* ЮЛИЯ СИРОМОЛОТ \* ОЛЬГА БЕРЕЗИНА  
ЛОРА БЕЛОИВАН \* ИРИНА АБРАМИДЗЕ \* АЛЕКСАНДР ШУЙСКИЙ  
НАТАЛИЯ РЕЦЦА \* АННА ЛИХТИКМАН

СОСТАВИТЕЛЬ:

18+

НАДА

ФРАЙ

ПРОЕКТ TEXTUS

НИНА ХЕЙМЕЦ \* АСЯ ДАТНОВА \* САП СА ДЭ  
ЕКАТЕРИНА ПЕРЧЕНКОВА \* ВЕРА КУЗМИЦКАЯ \* КЭТИ ТРЕНД  
ТАТЬЯНА ЗАМИРОВСКАЯ \* ЛЕЯ ЛЮБОМИРСКАЯ \* ОЛЬГА МАРЕИЧЕВА

Проект Textus

АНТОЛОГИЯ  
**Nada (сборник)**

«Издательство АСТ»

2019

УДК 821.161.1-3  
ББК 84(2Рос=Рус)6

### **Антология**

Nada (сборник) / Антология — «Издательство АСТ»,  
2019 — (Проект Textus)

ISBN 978-5-17-114670-2

В переводе с испанского «Nada» означает «ничто», «ничего»: в переводе с персонального внутреннего языка составителя этого сборника «Нада» – часть заклинания «мненада», такого могущественного, что лучше не связываться с тем, кто его произнес. Если уж ему нада, пусть будет так. Где-то между двумя вариантами и следует искать смысл этой книги, собранных в ней рассказов и жизни на планете Земля, которая, хотим мы того или нет, краткое (но вечное) торжество созидательной воли «мненада» над сокрушительным «Nada», гулким набатом небытия.

УДК 821.161.1-3  
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-114670-2

© Антология, 2019  
© Издательство АСТ, 2019

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Макс Фрай                         | 6  |
| Екатерина Перченкова              | 14 |
| Екатерина Перченкова              | 19 |
| Екатерина Перченкова              | 23 |
| Нина Хеймец                       | 31 |
| Нина Хеймец                       | 33 |
| Нина Хеймец                       | 35 |
| Нина Хеймец                       | 37 |
| Нина Хеймец                       | 40 |
| Нина Хеймец                       | 43 |
| Ирина Абрамидзе                   | 46 |
| Ася Датнова                       | 48 |
| Ася Датнова                       | 50 |
| Ася Датнова                       | 51 |
| Татьяна Замировская               | 54 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 56 |

# Макс Фрай

## Нада

© Макс Фрай, текст

© Наталия Рецца, дизайн обложки, иллюстрации

© ООО «Издательство АСТ», 2019

\* \* \*



## Макс Фрай

### Сорок третий

Впервые это случилось, когда ему было тринадцать – здоровый, в сущности, лоб. Сказками уже давным-давно не зачитывался; собственно, вообще ничем не зачитывался с тех пор, как в трех кварталах от дома открылся видеосалон, куда всеми правдами и неправдами стремился попасть хотя бы пару раз в неделю. Взахлеб смотрел ужастики и боевики.

А город, который он увидел, был совершенно сказочный, как с картинки, даже скорей из мультфильма – знал бы про аниме, сразу подумал бы: анимешный, но этого термина тогда еще не употребляли. Светлые стены невысоких, как бы нарочито хрупких домов, разноцветные оконные стекла, хрустальные крыши, бесчисленные мосты, протянутые не только над узкой быстрой рекой, но и просто над улицами, между домами, на уровне второго – третьего этажей, лестницы всех мыслимых форм и конструкций, соединявшие тротуары с мостами и крышами, иногда – с тенью соседнего дома, с проплывающим облаком или просто ни с чем.

...Он тогда болел; ничего серьезного, обычная простуда, но часто просыпался от кашля, жадно пил воду из специально оставленной на стуле возле дивана чашки и снова засыпал. Под утро вода в чашке закончилась. Вставать было лень, но пить хотелось так сильно, что пришлось. Босиком пошлепал на кухню, напился, вернулся обратно в комнату и совершенно случайно взглянул в окно. Сон слетел с него сразу, да и с кого бы он не слетел, когда за окном вместо заслоняющей половину неба блочной девятиэтажки какой-то фантастический, невозможный город с мостами, хрустальными крышами и винтовыми лестницами, ведущими в никуда.

В этом городе тоже была ночь, но гораздо более светлая, чем он привык, небо не чернильное, а почти бирюзовое, всюду на улицах круглые белые и зеленые фонари, окна в домах тоже светятся, и это оказалось одним из самых удивительных впечатлений – светящиеся изнутри разноцветные оконные стекла, как будто глядишь на зажженную лампу через калейдоскоп.

Стоял у окна и смотрел на этот удивительный город, которого быть не могло. Думал: «Наверное, на самом деле я не проснулся», – и это само по себе свидетельствовало, что все-таки проснулся. Никогда раньше не говорил себе во сне: «Я сплю». Но хотелось более веских доказательств. Поэтому несколько раз ущипнул себя, очень больно, но все-таки для полной уверенности недостаточно. Тогда взял с письменного стола ножницы и с силой провел лезвием по руке. Ножницы были тупые, но удалось расцарапать кожу до крови. И тогда наконец успокоился, выдохнул: все-таки не сон.

Потом уже не колебался. Быстро оделся и вышел из дома, захватив в прихожей куртку и сунув ноги в ботинки, отцовские вместо своих; ошибку осознал уже в подъезде, но возвращаться не стал, только потуже затянул шнурки. Дом был пятиэтажный, без лифта, поэтому спускаться пришлось пешком. Шел очень медленно, отчасти из-за болтающихся на ногах ботинок, отчасти потому, что ему было страшно: вот выйду из дома, вокруг этот удивительный город – и что тогда? Нет, правда, что? Я там никого не знаю, и меня тоже – никто. Может быть, там живут людоеды? Или вампиры? И эта красота за окном – ловушка, чтобы выманить всех, кто не спит? И еще неизвестно, какой у них там воздух. Им вообще можно дышать? Или как на других планетах в фантастических фильмах состав атмосферы – ацетон, аммиак?

Но страх не мешал идти вниз по ступеням, не останавливаясь, шаг за шагом, не сомневаясь, что он все делает правильно, так обязательно надо, других вариантов просто нет. Страх был отдельно, а весь остальной он – отдельно. И оказалось, что весь остальной он гораздо больше, чем страх. И сильнее. Это было удивительное открытие; потом оно еще пригодилось не раз.

Когда открывал дверь подъезда, сердце так колотилось, что, думал, выскочит или, наоборот, остановится от нагрузки, как перегревшийся мотор. Но все равно оттянул язычок защелки, навалился на дверь плечом, вышел, в первый момент вообще ничего не понял, кроме того, что этим холодным морозным воздухом вполне можно дышать, а потом увидел, что стоит в своем дворе, напротив – панельная девятиэтажка, слева – мусорные баки, справа – выезд на улицу, за спиной – черная железная дверь подъезда, как обычно, как и должно быть, все как всегда.

Некоторое время стоял неподвижно, затаив дыхание, сам не знал, чего ждет – то ли, что сказочный город передумает и вернется, то ли, что привычный пейзаж тоже исчезнет, девятиэтажка, мусорка, синяя дяди Володина «девятка», неизвестно чей горчично-желтый «москвич», и он сам тоже исчезнет, в первую очередь – он сам.

В любом случае, так ничего и не дождался. И, тем более, не исчез. Наконец развернулся, нажал на кодовом замке кнопки «3», «8» – и пошел обратно, домой.

Поднявшись на четвертый этаж, спохватился: «Как же я войду?» – но в кармане куртки неожиданно нашлись ключи, дверь удалось открыть, а потом запереть бесшумно, поэтому о его ночной отлучке родители так и не узнали. А рассказывать, конечно, не стал. Вообще старался вспоминать об этом пореже, а когда все-таки вспоминал, говорил себе: я болел, у меня могла резко подняться температура. Бред – вполне обычное дело, когда у человека жар.

Сам знал, что это никуда не годное объяснение. Но оно все равно его успокаивало. Такой вот парадокс.

\* \* \*

Второй раз это случилось через два с лишним года. Они с родителями только что переехали в дедовскую квартиру на втором этаже большого сталинского дома, почти в самом центре города, непривычно просторную, и как почему-то казалось, полную тайн, хотя откуда бы взяться тайнам у деда, всю жизнь прослужившего министерским чиновником? Не такой он был человек. Однако атмосфера в квартире все равно была немного таинственная, ну или просто непривычная. Скорее всего, так.

В ту ночь он засиделся, готовясь к экзамену; на самом деле грядущий экзамен просто оказался отличным предлогом не поехать на дачу с родителями, впервые в жизни остаться одному дома почти на трое суток, а не на какие-то несчастные полдня. Поэтому жалко было вот так сразу лечь и засыпать. Гораздо интересней сидеть за старым письменным столом в бывшем дедовском кабинете, с открытым где-то на середине учебником, исчерканной тетрадкой с задачами и полной чашкой растворимого кофе, который ему не особенно нравился, но казался символом настоящей взрослой жизни, всего самого лучшего, что в ней есть – одиночества и свободы не спать хоть до самого утра.

Несмотря на кофе, в начале третьего начал клевать носом. Какое-то время пытался бороться со сном, но потом махнул рукой, сполз со стула, принялся стягивать брюки, замутненный усталостью взгляд случайно упал на окно, и он застыл, как стоял – полусогнутый, одной ногой застрявший в штанине – потому что там, за окном, было бирюзовое небо, круглые зеленые фонари, светлые стены, хрустальные крыши, разноцветные оконные стекла, лестницы и мосты. Не закричал: «Да! Да! Да!» – только по привычке вести себя по ночам тихо, чтобы не разбудить родителей, забыл, что в квартире больше никого нет. Но очень хотел торжествующе закричать, потому что город за окном казался ему главной личной победой всей жизни; в каком-то смысле он и был победой – над собственным здравым смыслом. Сколько раз говорил себе, что никакого волшебного города не было, а он все-таки есть.

Наконец натянул штаны, развернулся бежать на улицу, но остановился на пороге комнаты, вспомнив, чем это закончилось в прошлый раз. Решил: если я вижу город в окно, значит, и выходить к нему надо из окна, а не в обход, через подъезд. Здесь всего-то второй этаж, не о чем говорить.

Ни минуты не колебался. Распахнул окно, повис на руках, уцепившись за подоконник, прыгнул. Когда разжимал пальцы, был твердо уверен, что на этот раз все получится, но когда ступни коснулись земли, еще до удара, неприятной, звонкой, вибрирующей волной отозвавшегося во всем теле, уже знал, что не получилось ничего. Нет никакого города с хрустальными крышами и разноцветными окнами. Просто нет, не может его быть, таких не бывает. Подумал: я так устал, что уснул на ходу, раздеваясь. И увидел сон. И прыгнул за ним в окно – хорошо, что со второго этажа, а не с какого-нибудь девятого. Интересно, как я теперь обратно залезу? Ключи-то остались в замке, изнутри.

Тем не менее, как-то вскарабкался обратно в квартиру, соседи с первого этажа спали крепко, не слышали, как он скакал на их подоконнике, и на улице было пусто, в общем, никто его не застукал, обошлось без скандала. Вот и хорошо.

Очень устал, но до утра ворочался на внезапно ставшем неудобным диване. Кое-как задремал, но подскочил, проспав всего пару часов. Даже не позавтракав, поехал на вокзал, а оттуда электричкой на дачу. От станции до поселка пешком почти пять километров, оно и к лучшему: почти успокоился, пока дошел.

Родители не столько обрадовались, сколько встревожились. Когда сын-подросток добровольно приезжает на дачу, от которой прежде отбрыкивался, как мог, впору задуматься, все ли у него хорошо. Сказал им: «Зубрить надоело, вот и приехал». А что еще было говорить.

\* \* \*

В третий раз он увидел город с хрустальными крышами не за окном, а в щели забора, ограждавшего какую-то стройку; дело было под утро после выпускного, он провожал домой Аллу, самую красивую девочку в классе, которая прежде не обращала на него внимания, но на выпускном вдруг согласилась с ним танцевать, и второй раз согласилась, и третий, и на попытку поцеловать совершенно не рассердилась, только сказала: «Ты что, не здесь же!» – и предложению уйти вместе пораньше так явно обрадовалась, что он почти испугался: ну и что теперь делать? Слишком легко все испортить, когда внезапно стало так хорошо.

...Теоретически, он провожал Аллу домой, но на самом деле, они нарезали какие-то нелепые, хаотические петли по городу, пили розовое шипучее вино, бутылку которого он заранее припрятал – не в кустах за школой, как делали почти все, а в детском саду через дорогу, в разноцветном фанерном паровозике; Алла хохотала до слез, увидев его тайник, но находчивость оценила. Ну и вообще все шло отлично, пока они не вышли к стройке, окруженной забором, здесь не было ни людей, ни фонарей, даже луна тактично скрылась за тучами, он восхищенно и почти обреченно думал: «Сейчас, сейчас!»

Алла стояла, прислонившись спиной к забору, к нему лицом, смотрела испуганно и вызывающе – ну? Обнял ее, неловко и неумело, собственные руки казались слишком большими, тяжелыми и неудобными, но потом это стало неважно, вообще все стало неважно, и Алла изменившимся, взрослым, как у женщин в кино хриплым, воркующим голосом бормотала: «Только осторожно, платье! Главное – его не порвать!»

Из-за платья, собственно, все и случилось: кружево зацепилось за какую-то дурацкую проволоку, пришлось остановиться, перевести дух, унять дрожь в руках и очень аккуратно,

медленно, подсвечивая себе зажигалкой, его отцеплять. Тогда и заметил, что из щели между щитами сочится какой-то необычный зеленоватый свет. Заглянул, и его возбуждение, робость, восторг мгновенно сменились возбуждением, робостью и восторгом совсем другого рода: там, за хлипким строительным забором, высились светлые стены, сверкали хрустальные крыши и разноцветные окна, изгибались мосты, лестницы устремлялись в темно-бирюзовое нездешнее небо, сияли круглые белые и зеленые фонари. Он был готов заплакать от счастья; Алла спросила, уже вполне обычным голосом: «Ты чего?» Поманил ее: «Смотри сюда, видишь? Ты видишь?» – и тогда она завизжала так громко, что уж лучше бы ответила: «Ничего».

Так и не узнал, что она там увидела. Потому что, если просто строительную площадку, непонятно, чего так орать. А если все-таки город с хрустальными крышами, тем более непонятно. Он же совсем не страшный. Очень красивый. Когда его видишь, вообще ни о чем думать невозможно, кроме того, как бы туда попасть.

А тогда все было, как в каком-то дурном фильме ужасов, снятом без сценария, наобум. Алла просила: «Мне страшно, пошли отсюда», – он зачем-то ее уговаривал: «Давай перелезем, я тебя подсажу».

Дело кончилось тем, что Алла обозвала его придурком и разными другими словами, не столько даже обидными, сколько неожиданно грубыми, – почему так? За что? – и убежала в ночь, размазывая по лицу черные от туши слезы. А он, конечно, не стал ее догонять, какое там догонять, какая вообще может быть Алла, когда удивительный город с хрустальными крышами – вот он. Всего-то и надо – перелезть через дурацкий забор.

Потом, обнаружив себя среди мешков цемента, досок, бетонных блоков, огромных металлических бочек и прочей бессмысленной строительной ерунды, невольно позавидовал Алле. И вообще всем девчонкам в мире – их легким слезам. Потому что иногда бывает так плохо, что очень надо заплакать, а ты то ли уже разучился, то ли вообще никогда не умел.

...Никому никогда об этом не рассказывал. И Аллу больше не видел; честно говоря, и не хотел. На самом деле, был очень ей благодарен за ту истерику – лучшее доказательство что город с хрустальными крышами ему не примерещился. Была бы за тем забором обычная стройка, Алла, скорее всего, обиделась бы на глупый розыгрыш, но крик бы не подняла. Так что был город, был, теперь он знал это точно. Просто потом что-то пошло не так, и все исчезло, но это ничего не меняет. В смысле не отменяет ни черта.

\* \* \*

В стремлении хоть как-то уравновесить потерю, решил стать архитектором. Явил чудеса упорства, готовясь к вступительным экзаменам, но предсказуемо не прошел даже предварительный отбор, где смотрели рисунки. Раньше надо было начинать готовиться, причем намного раньше, за несколько лет; почувствовал себя наивным идиотом, обнаружив, что почти все остальные абитуриенты оказались выпускниками художественных школ и училищ, на худой конец изостудий и рисовальных кружков.

Потом, уже гораздо позже, понял, что все только к лучшему. Какой из меня архитектор? Куда мне, зачем? Небось всю жизнь пытался бы воспроизвести свой хрустальный сказочный идеал, да кто же мне дал бы. Сиди, черти свои фантазии на бумаге в свободное от основной работы время, тем и довольствуйся: таких городов нынче не строят. Да и не строили никогда. Очень тяжелая вышла бы жизнь, полная горечи ежедневных поражений в безнадежной, бессмысленной борьбе с естественным сопротивлением строительного материала и заодно культурного контекста. Ну уж нет.

А тогда был так раздавлен неудачей, что поступил, не раздумывая, в Политехнический, где конкурса не было вовсе. Как вскоре выяснилось, правильно сделал: на пороге, нетерпеливо похрюкивая модемами, уже стояло информационное будущее, и ему с этим будущим оказалось по пути.

Настолько по пути, что к третьему курсу у него уже была отличная работа, а на защиту диплома он приехал в подержанной, но с виду такой навороченной иномарке, что в последний момент постеснялся выходить из нее возле института, на глазах у преподавателей – зачем их дразнить? Развернулся, отъехал, припарковался за несколько кварталов и пошел пешком.

Собственно, тогда и увидел город с хрустальными крышами в четвертый раз, впервые не ночью, а среди бела дня. И не на месте двора или улицы, а в темном подземном переходе, вместо прилавков с пирожками, кружевными трусами и дешевой бижутерией. Звучит нелепо, но было именно так. Рванул туда, не раздумывая, в твердой уверенности – теперь-то точно успею, войду!

Никуда не вошел, конечно, с разбегу врезался в лоток с пирожками, сам расшибся и все на хрен перевернул. Без объяснений сунул вопящей тетке столларовую купюру и убежал, не дожидаясь ни благодарности, ни неприятностей, ни скорой помощи, которую наперебой предлагали вызвать другие торговки – из рассеченной брови всю хлестала кровь, хотя рана оказалась совсем пустяковая, заклеил ее потом пластырем, и дело с концом. На защиту пришел с опозданием, в мокрой сорочке, которую безуспешно пытался отстирать в туалете от кровавых пятен; в общем, произвел настоящий фурор. Одно из тех дурацких приключений, переживать которые не особо приятно, зато потом всю жизнь можно с удовольствием вспоминать.

\* \* \*

Жил потом хорошо. Работа занимала внимание, денег хватало на путешествия, которые он полюбил; со временем стал достаточно востребованным специалистом, чтобы выбирать места работы по своему вкусу, и где только не пожил. Легко приживался на любом новом месте и так же легко с него снимался, чтобы начать заново где-нибудь еще. Не то чтобы не позволял себе ни к чему по-настоящему привязываться, а просто не привязывался, без каких-то специальных усилий. Объяснял себе и другим: такой уж я человек.

Чаще всего приходилось говорить это женщинам, с которыми обычно складывалось легко и приятно – до поры, до времени, пока его в очередной раз не подхватывал ветер перемен. Все его любви были счастливыми, с радостью женился бы на каждой из них – если бы хотел хоть какого-нибудь намека на стабильность и постоянство. А он не хотел. Стабильность и постоянство явно не для человека, который всегда выбирает жилье на нижних этажах, с расчетом, что если за окном однажды появится удивительный город с хрустальными крышами, мостами и лестницами, можно будет без особого риска для жизни попробовать туда попасть.

Впрочем, из окон своих квартир он больше никогда этот город не видел. Зато однажды пришлось спускаться за ним на дно – не то чтобы пропасти, но довольно глубокого каньона, без страховки и прочих вспомогательных средств. Да чего только не было: вброд пересекал мелкую, но очень быструю речку, лез в строительный котлован, выскакивал на летное поле, ломился в подсобное помещение гипермаркета, в слоновник Пражского зоопарка, в закрытый музей и просто на частную территорию, последнее – неоднократно; впрочем, до вызова полиции ни разу не доходило, но не потому что был осторожен, скорее, умел обаятельно извиняться, да и просто везло.

Однажды увидел хрустальные крыши из окна пассажирского поезда и, не раздумывая, выскочил на ходу. Удивительно, но даже не расшибся. А что оказался неведомо где, среди

бескрайних полей, без денег и документов, с разбитым сердцем и полными невыплаканных слез глазами, так к этому было не привыкать. Выкрутился, конечно, он всегда выкручивался. Быстро этому научился. У того, кто готов в любой момент без сомнений, не раздумывая, не подстраховываясь, броситься в погоню за миражом, иного выхода нет.

Со временем немного успокоился, привык к мысли, что город с хрустальными крышами недостижим. То есть войти в него и остаться там жить, скорее всего, никогда не получится. То ли он в другом измерении, то ли все-таки просто галлюцинация, такая вполне счастливая разновидность шизофрении или какого-нибудь другого психического заболевания, когда большую часть времени ты совершенно нормален, но изредка случаются приступы. И, в общем, слава богу, что случаются. Очень грустно было бы без этих приступов жить.

Близкий друг, записной скептик, почти воинствующий материалист, как-то признался ему, что не верит ни в какие чудеса, потому что лично с ним они не случаются. Объяснил: для меня поверить в сверхъестественную галиматью, все равно, что признать себя недостойным ее ничтожеством. Вот если со мной начнет случаться всякое необъяснимое, тогда пересмотрю свою позицию, а пока – извини, но нет.

Слушая друга, думал: получается, в моем положении считать удивительный город чем-то большим, чем просто галлюцинация, тоже означает признать себя недостойным ничтожеством, которое туда не пускают. Попытался рассердиться, или хотя бы обидеться, но ничего не вышло. Наоборот, как-то подозрительно легко согласился с этой идеей: ладно, пусть. Но будь я хоть трижды ничтожество, а сердце мое исполнено любви к миру с хрустальными крышами, и единственный способ хоть как-то ее выразить – это идти навстречу всякий раз, когда позовут.

\* \* \*

Одинокая старость оказалась вовсе не так плоха, как расписывали приятели и коллеги, огорченные его нежеланием знакомиться с их незамужними родственницами и подругами, чтобы совместно вскочить в последний вагон уходящего брачного экспресса. Собственно, старость вообще ничем не отличалась от всей остальной жизни, разве что из зеркала в спальне все чаще выглядел какой-то незнакомый, довольно противный дед, и от некоторых видов активного отдыха постепенно пришлось отказаться; впрочем, к тому времени они как раз успели поднадоесть.

Плавать не разлюбил, наоборот, полюбил еще больше. Даже поселился у теплого моря, чтобы всякий раз, как захочется искупаться, то есть, примерно трижды в неделю, к нему не летать.

В ноябре обычно уже никто не купался: курортники уезжали, для местных температура воды плюс восемнадцать была чересчур холодной, а ему, выросшему на севере, в самый раз. Плавал каждый день, наслаждаясь полным одиночеством, как будто он здесь единственный житель, законный владыка каменистого пляжа и сопредельных вод.

Всегда любил заплывать далеко, так чтобы берега было не видно. Это совсем нетрудно, если не спешить, не выкладываться по полной, время от времени переворачиваться на спину и отдыхать, покачиваясь на волнах. Правда, чем холодней становилась вода, тем короче делались заплывы. Все-таки переохладиться нельзя. При плюс восемнадцати позволял себе находиться в воде самое большее – час. Ладно, иногда полтора.

Когда во время одного такого заплыва увидел вдаль не просто незнакомый, а даже на самых подробных картах не обозначенный остров, сразу понял, что его там ждет. Хотя с такого расстояния ничего было не разглядеть. Но все равно разглядел – то ли стариковскими дальнорезкими глазами, то ли измученным долгой разлукой сердцем – благородную белизну город-

ских стен, ослепительный блеск хрустальных крыш. Подумал: «Сорок третий раз», – и сам удивился. Оказывается, я подсчитывал все наши встречи? До сих пор был уверен, что нет.

Навскидку прикинул расстояние, трезво оценил свои силы. Понял: пожалуй, не доплыву. Но все равно, конечно, поплыл, потому что выбора не было. Никогда его себе не оставлял.

Замерзать оказалось совсем не мучительно, даже отчасти приятно. Просто плыл все медленней, и совсем не хотелось стараться, делать усилия, увеличивать скорость – зачем? Знал, что не доплывет до острова, где теперь уже явственно виделись светлые стены, лестницы, крыши, мосты, но это не вызывало у него ни страха, ни даже внутреннего протеста, только благодарность за возможность вот так по-дурацки, очень счастливо, совершенно бессмысленно умереть. Думал: по крайней мере, на этот раз не обломаюсь. Просто не успею убедиться, увидеть своими глазами, что на самом деле никакого города нет. Хороший, в общем, финал.

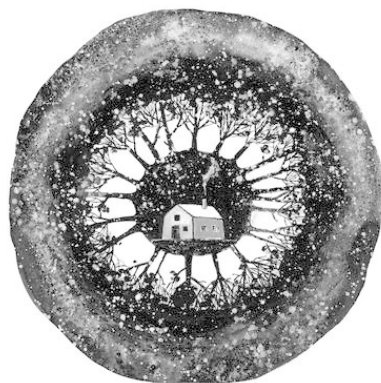
Мысли тоже становились медленными и короткими, как движения. Как будто несколько суток не спал и теперь отрубаешься на ходу. Однако голову держал над водой, потому что хотел смотреть на город, видеть, как он приближается, медленно, слишком медленно, но все равно.

Так и не понял, откуда взялась лодка. Вроде бы не плыла навстречу. Или плыла, просто он не видел? Или все-таки видел, просто не осознавал? Трудно сказать, как было на самом деле. Но лодка появилась, факт. То ли сам в нее влез, то ли его втащили, это тоже прошло как-то мимо сознания. Когда более-менее собрался с силами – ровно настолько, чтобы осознать себя, уже лежал в этой лодке, в неудобной, дурацкой позе, кто-то растирал ему ноги, неразборчиво бормоча невнятное, то ли ругался, то ли читал заклинания, то ли просто утешал.

Долго беззвучно шевелил губами, пытаюсь что-то сказать, на самом деле, неважно что, лишь бы издать хоть какие-то звуки, хорошо быть живым, но плохо немым. Наконец язык ему подчинился, и он сказал: «У меня при себе нет монетки, очень неловко вышло, всегда за себя платил», – и тогда все еще неразличимый, невнятный кто-то рассмеялся и сказал, на этот раз очень четко, звонким, то ли женским, то ли мальчишеским голосом, на вряд ли родном, но все равно почему-то понятном ему языке: «Зачем вам деньги? Я – не Харон».

Когда наконец смог – не открыть глаза, они давно были открыты, а усилием воли заставить их сделаться зрячими, – из невнятного зыбкого разноцветного марева проступило лицо, а потом и вся остальная женщина, ярко-рыжая, синеглазая, ослепительно белокожая, полная, с пышной грудью, не особенно молодая, средних лет. Такой тип ему никогда не нравился, но эта женщина предсказуемо показалась восхитительной – когда то ли еще умираешь, то ли уже воскресаешь, того, кто милосердно держит тебя за руку, поневоле сочтешь самым прекрасным в мире существом.

Она улыбнулась, сказала: «Хорошо, что я вас заметила; еще лучше, что на берегу нашлась чья-то лодка. Совсем отлично, что я рыбацкая дочка и умею грести. Было бы чертовски обидно, если бы вы до нас не доплыли – именно теперь, когда мы уже окончательно и бесповоротно есть».



## Екатерина Перченкова

### Свет на горе

У меня плохое предчувствие, говорит донья Аурелия. И улыбается. Наверное, в детстве гримасничала перед зеркалом, разглядывала щербинку между зубами, растянув рот в неровной улыбке, напугали, такая и осталась. Маленький, белозубый, треугольный рот, и, кроме этого треугольника, все остальное в ней лишено остроты, закруглено и плавно. Круглые коричневые локти в оборках белого кружева. Круглое чистое лицо, почти не выдающее возраста. Круглые серьги из дутого золота, ожерелье из позолоченных облезлых монет, выщипанные удивленными дугами брови. Я была красавицей, говорит донья Аурелия, веришь?

Верю; в юности, должно быть, она ускользала в ночь к первому своему любовнику голой, закутавшись в смоляные непроглядные волосы, как в плащ, оставив на себе разве что браслеты, потому что в темноте эти дешевые медяшки и стеклянные бусины дивно хороши на смуглых запястьях, а девушки знают толк в подобных делах. Но теперь донья Аурелия немолода, медлительна и сентиментальна. В углу ее комнаты прячется алтарь с фотографией маленькой девочки, украшенный бумажными цветами; там же обитает старинный трескучий радиоприемник; там же узкая, как будто девическая или монашеская, железная кровать. Теперь у нее дальнзоркие очки на плетеном шнурке и растоптанные, тысячу раз подклеенные и зашитые мокасины. Но еще, при всей уютной закругленности, у нее длинная и тревожная шея: может быть, донья Аурелия умеет поворачивать голову на сто восемьдесят градусов, как сова. И – редко, во время стирки или мытья полов, – тонкая, как будто принадлежащая танцовщице или породистой лошади, щиколотка из-под синей просторной юбки.

Плохие предчувствия у нее по сотне раз на дню, и всегда сбываются. Мне ли не знать. Я единственный собеседник доньи Аурелии на двадцать миль вокруг, единственный постоялец ее скудной гостиницы в это время года. Лето здесь – мертвый сезон: оно тяжело даже привычным местным, а для путешественников с севера вовсе убийственно. Большой жары как будто и не было, но я, в дороге пролистав путеводитель, запомнил, что следует одеваться в легкую многослойную одежду и пить как можно больше. И это не помогло. Десять часов в открытом кузове грузовика – не под палящим солнцем, нет, – под бесцветным горячим небом, целиком превратившимся в солнце, – и я проклял все на свете, а потом даже проклинать разучился. Проводник мой заваривал чай в круглой долбленой тыкве, высушенной на солнце, и к моменту встречи с доньей Аурелией я сам себе напоминал как раз такую тыкву, бестолковую и невесомую, выжженную тонкую оболочку. Крыша над головой, заслоняющая от солнца, и бесконечное количество холодной воды, – вот что казалось мне раем тогда. И хорошо, что ни один из местных богов не услышал моего опрометчивого обещания отныне и до самой смерти вести исключительно ночной образ жизни.

Следующие три дня я опасливо подходил к двери, за которой стояло белесое жаркое марево, вглядывался в него, бормотал: «Да ну, к черту!» – и возвращался в блаженную темную прохладу жилища. Донья Аурелия торжествовала: никогда прежде у нее не было постояльца, готового вести многочасовые неспешные разговоры. Интернета в гостинице не оказалось: крупно нарисованный значок wi-fi на двери, как бесхитростно поведала хозяйка, оказался «такой штучкой, которая, если нарисовать, будет притягивать гостей». Делать первые дни – я никого еще не знал, и никто не доверял мне, – было решительно нечего.

Какую же чушь мы несли! Видят все местные боги, чьих имен я так и не выучил: только на четвертый вечер мы с доньей Аурелией раздавили небольшую бутылку мутной, но хорошей текилы, а до того прекрасно обходились без нее. Так говорят со случайными попутчиками, с

психотерапевтами и еще – нам выпал именно этот случай – так говорят, обнаружив с кем-то внезапное и необъяснимое родство и сходство.

Плохие предчувствия хозяйки, в первую очередь, касались меня. Человек, добровольно едущий в эту выжженную глушь, – чаще всего беглец, и прошлое тянется за ним, как невод с мусором по мелководью, а он не в силах разжать рук и отпустить его; а еще бывает, что прошлое преследует его, как чудовищная гончая, и скалит зубы из темных углов. Оказалось непросто убедить донью Аурелию, что никакого прошлого у меня, по большому счету, нет. Я приехал не скрыться, но найти, это совсем другое дело.

– У меня плохое предчувствие, – упрямо твердит она и улыбается.

О любви мы уже говорили и о смерти тоже. И еще о детстве; мы действительно похожи с доньей Аурелией, хотя с нами происходили совершенно непохожие вещи. Я в детстве слишком много читал и слишком часто поминал все греческих, скандинавских, валлийских и прочих богов, слишком навязчиво перебирал вслух их имена и перечислял принадлежащих им животных и растения; а потом, видимо, и меня напугали, и я такой и остался: с полным ртом то ли сладкого меда, то ли кисловатого разбавленного вина, – ни проглотить, ни вдохнуть, ни жить. Потому-то здесь и дышится свободнее: я не знаю имен богов, властвующих здесь, не могу оскорбить их и не хочу подходить близко. Их непостижимый мир держится на золоте, солнце и крови, а я не люблю золота, не переносу солнца, а вида крови и вовсе боюсь – нам негде встретиться.

Донья Аурелия – другое дело: самое имя ее восходит к золоту – или к воздуху? – если закрыть глаза, то появится золотой и воздушный дверной проем, в котором она парит, не касаясь земли; я говорю это, и она смеется.

– Однажды я исчезну, как исчезла моя мать, – говорит донья Аурелия. – Знаешь, что случилось? Мне было четыре года, я вошла в комнату, а она летела над полом в столбе света. В белом платье и с красной герберой в руке. Она смотрела на меня и улыбалась. О, я никогда не видела ничего и никого прекраснее! А потом она взяла и улетела. Вместе со светом. Прямо через потолок. И больше ее никто и никогда не видел. А потом все говорили, что я это выдумала. Скажи, разве можно выдумать такое?

Мне бы продержаться еще пару дней, не раскрывая намерений, но проклятая текила отлично развязывает язык. И я спрашиваю: ты знаешь человека по имени Рамон Клементе?

– Может, знаю, а может, и нет, – говорит донья Аурелия и включает свет. Полумрак нарушен; при свете комната, в которой мы разговариваем, бедна и неуютна. Хозяйка больше не улыбается, она поджимает губы и хочет, чтобы я ушел. Видимо, я все испортил.

На месте доньи Аурелии я бы, наверное, тоже обиделся. Не стоило так неожиданно напоминать, что за пределами гостиницы у меня есть своя жизнь и собственная цель, что наши длинные и странные разговоры – всего лишь способ подобраться ближе к этой цели. И я бы, наверное, обижался дольше. Но хозяйка уже на следующее утро встретила меня с привычной улыбкой и сообщила, что некто Карлос наконец-то починил кофейную машину.

– Как я сразу не догадалась, – сказала она. – Ты журналист. То-то язык у тебя подвешен!

И разубедить ее оказалось невозможно. Я был даже готов рассказать ей правду, но моя правда выглядела совсем уже нелепо. Донья Аурелия здорово посмеялась бы. Хихикала бы тоненько, по-девичьи, прикрывая рот рукой, выговаривая: «Ты? Охотник за головами? Ой, не могу...»

Я. Охотник за головами. Я пришел за головой Рамона Клементе, наркоторговца и нелегального проводника. У меня нет прошлого, но есть некоторая вероятность будущего. В моем положении берутся за любую работу. В соседнем поселке четыре крепких парня ждут моего

звонка. Я найду и покажу им Рамона Клемента, и все кончится, и начнется, наверное, какая-то жизнь. Мы с Лорел сможем заплатить первый взнос за дом. А потом поглядим.

Но у доньи Аурелии свое представление о том, зачем я явился. Теперь по утрам она сообщает мне странные местные новости и ждет: начну ли я записывать в блокнот, метнусь ли к ноутбуку, стану ли выведывать подробности, отправлюсь ли в почтовое отделение звонить кому-то. Я делаю вид, что мне безразличны ее рассказы. Мы четыре дня играли в одну игру, теперь играем в другую, – все-то весело.

– У Марии пропала коза, – говорит донья Аурелия, – бедная девочка так плакала! У нас часто пропадают козы. Хочешь чаю?

Чай прозрачен и будто бы пуст, но после первого глотка рождается привкус лежалой соломы, точно старый веник залили крутым кипятком.

– Мальчики решили, что в озере кто-то живет, – говорит донья Аурелия. – Кто-то очень странный. Может, он и крадет коз, как думаешь?

Если сделать несколько глотков подряд, происходит необъяснимое: чайный веник расцветает во рту, распускается весенним миндалем или поздней хризантемой.

– Мы все думаем, – говорит донья Аурелия, – что неспроста Бонита никому не показывает своего мальчика. Это особенный ребенок, помни мои слова!

Лучший чай заваривается на дождевой воде, а дожди здесь бывают две недели в году; должно быть, хозяйка собирает воду все эти две недели, а потом держит в подвале в огромных жестяных флягах.

– Я и сама позавчера видела свет на горе, – говорит она.

Я ничего не отвечаю. Что вообще может сказать человек, у которого во рту только что расцвел веник?

Неделя моего пребывания здесь, и вот у нас третья по счету игра: я веду донью Аурелию на свидание. Она надевает свое лучшее платье и вплетает цветы в прическу, достает из-под кровати красные вышитые мокасины. Мы идем в «Такитос», но не в зал, где едят, а в бар. Хозяин – старый друг доньи Аурелии, он обеспечит нам кое-что из своих запасов. Будем сидеть и разговаривать.

– Может быть, – говорит донья Аурелия, – ты увидишь кое-что интересное.

Но все идет не по плану. С утра поднимается ветер и стоит над землей весь день; ветер несет колючий песок и мелкие белые облака. Поговаривают, что будет дождь, и даже гроза, и град, но облака уходят, оставляя за собой чистое бледное небо. Мне не по себе от этого ветра: он настигает даже в помещении, влетает в одно ухо и вылетает в другое, оставляя голову совершенно пустой.

– Я знаю, – говорит донья Аурелия, – ты стесняешься идти со мной в «Такитос»!

Нет, – тороплюсь, – нет, что ты. Придумаешь тоже. Кого мне стесняться? Тем более, ты красавица.

Никак не пойму, это холодный ветер или горячий.

В кои-то веки мне нечего сказать, я плетусь за ней по улице, поддакиваю невпопад и спотыкаюсь; а когда хозяин «Такитос» радостно возвещает, что наконец-то Аурелия усыновила себе кавалера, начинаю медленно думать, что бы ему ответить, и моя спутница находит острый ответ сама, и они долго хохочут. Насчет запасов хозяина она не соврала: целый шкаф цветных безымянных бутылок к нашим услугам, и первая же рюмка горькой желтой настойки уносит меня так далеко, как не уносило дрянное пойло в студенчестве. «Тебе плохо?» – беспокоится донья Аурелия. – Да, возможно, но еще мне хорошо, мне одновременно. В табачном дыму плывет соломенная крыша, и лампа с оранжевым абажуром, и барная стойка, и я, пожалуй, хочу, чтобы это продолжалось бесконечно. И даже ветер, несущийся снаружи, хорош: мне все

время немного не хватает воздуха, а он несет с собой столько воздуха – пахнувшего дорожной пылью, и цветами, и океаном, – что вдохнешь однажды, и хватит на всю жизнь.

Моя спутница, должно быть, обидится: сижу бестолково, плаваю взглядом по стенам и лицам вместо того чтобы развлекать ее; и как объяснить, что это, кажется, лучший вечер в моей жизни?

Донья Аурелия вдруг крепко толкает меня в бок.

– Вот этот, – говорит она, – который сидел рядом с нами. Который сейчас расплатился и вышел!

– Ну?

– Это был Рамон Клементе.

Вот же черт. Кто-то и впрямь сидел рядом с нами. И правда, расплатился и ушел. Большой, кажется, грузный человек. Кажется, золотая печатка на безымянном пальце. Пил, кажется, виски. Я не обратил внимания и не видел его лица. Вот черт.

– Ты должна была показать его мне раньше.

– Надо же, – говорит донья Аурелия. – Должна была! Вообще-то я должна была показать тебя ему. Зачем, думаешь, мы сюда пришли?

Ничего не понимаю. И не хочу, если честно, понимать. Лучший вечер в моей жизни действительно длится почти бесконечно, а потом – я не успеваю заметить, как, – перетекает в самое худшее утро.

– Он согласен, – говорит донья Аурелия, появляясь в дверях моей комнаты с круглым и полным кувшином.

– Кто?

– Рамон Клементе. Ты совершенно не умеешь пить. Рамон Клементе согласен отвести тебя на гору. Сегодня в восемь вечера на заднем дворе «Такитос». У тебя должны быть хорошие ботинки, шляпа и куртка. И еды и воды на два дня. Если тебе нужно уладить какие-то дела, торопись. Уже полдень.

Никогда бы не подумал, что похмелье можно уничтожить усилием воли. Но мне удастся.

– Если хочешь расцеловать меня – твое право, – говорит донья Аурелия.

– Хочу. Но это потом. Когда вернусь. А сейчас мне нужно действительно кое-что уладить.

...Когда я говорю в телефонную трубку, что сегодня вечером выйду через заднюю калитку «Такитос» вместе с Рамоном Клементе, мне сначала не верят. Он неуловим уже пятый год, а новичку всего-то за неделю удалось разыскать его и даже о чем-то договориться. О чем – самому хотелось бы знать. Но это, по большому счету, неважно. Сегодня вечером все кончится. И начнется жизнь. Дом. Лорел. У меня нет с собой ее фотографии, но в памяти легко, как наяву, оживить нежное светлое лицо в коричневых веснушках, рыжие прозрачные кудри, ускользающую улыбку. Все у нас будет, Лорел. Все будет хорошо. Что же мне плохо-то так, господа?..

Никто не должен заподозрить неладного, поэтому к вечеру при мне честный рюкзак путешественника с запасом еды и воды, к которому приторочена свернутая куртка; крепкие ботинки, соломенная шляпа и нож у пояса, – я готов.

Донья Аурелия целует меня в лоб на прощание. Я вру ей, что вернусь.

Рамон Клементе сидит на ступеньках черного хода в «Такитос», вокруг него плавают густые клубы дыма. Теперь я могу разглядеть его. Все правильно. Именно так должен выглядеть наркоторговец и нелегальный проводник: квадратные плечи, крепкая шея, старый шрам через половину лица, угрожающие черные усы, издевательски блестящий золотой зуб.

– Сегодня удачный вечер, – говорит он вместо приветствия.

– Почему?

– Смотри, – он указывает вдаль, где в подступающих сумерках высится лиственная вершина горы. Слабо, чуть заметно, сквозь деревья на вершине пробивается свет. – Он уже там. Готов?

Десять шагов, и все кончится. Возможно, открыв дверь калитки и обнаружив засаду, он даже не попытается меня прирезать.

– Такое дело, – говорю я (не знаю, почему: я не собирался ничего говорить). – За этой калиткой машина. А в ней четыре крепких парня. Если мы с тобой сейчас пройдем вон через те кусты на землю доньи Люсии, а потом через дырку в заборе? И пойдем на гору? Что скажешь?

Рамон Клементе как будто не удивлен.

– Пойдем, – говорит он.

## Екатерина Перченкова

### Дежурный

Что видит, глупый человек, то поет:

комнату три на три метра, выходящую зарешеченным окном в сырой переулок;  
стол, чью-то бывшую парту с кнопкой выключения лектора и старательной каллиграфией  
«Радин – чмо»;

вертлявое офисное кресло, орудие собственной похмельной пытки; и ведь в голову ему не придет завести здесь обычную табуретку. А то и заведет, принесет с помойки, чтобы не выбивалась из общего стиля. И воссядет нерушимо, и будет пером скрипеть, и глазом зыркать, и ежиться от мягкого оттепельного сквозняка, и ждать, когда зазвонит телефон.

На его памяти телефон ни разу не звонил.

Иногда он поднимает трубку и не слышит гудков. Только слабый электрический треск, только, кажется, чье-то короткое стесненное дыхание. Может быть, это дышит другой оператор, из скуки и любопытства тоже поднявший трубку.

...Пятьдесят воскресений подряд в дежурке, почитай уже год. Такие одинаковые, неразличимые, близнецовые дни: чугунная после субботы голова, подташнивает, все ловля мух и очинка карандашей, все смертная тоска.

И когда в пятьдесят первое воскресенье телефон все-таки звонит, он не сразу понимает, что нужно делать. Например, говорит: «Да!» и «Алло!» вместо уставного «Третий!» Например, его пробивает какая-то глупая восторженная дрожь, хотя звонок не обещает ничего хорошего.

– Код три ноля, – извещает незнакомый, почти механический голос. – На Октябрьской площади объект «Бедная Лиза», готовность пятнадцать минут.

– Понял! – все еще восторженно отвечает глупый человек.

И тут ему становится страшно.

Пункт первый инструкции: надеть перчатки. Выполнено. Пункт второй: открыть шкаф, выдвинуть нижний ящик и выбрать сотовый телефон и аккумулятор, подходящие друг к другу. Положить в карман. Пункт третий: запереть дежурку и пойти куда глаза глядят. Вернее, куда можно уйти за двенадцать оставшихся минут. Довольно далеко, между прочим: например, вот сюда, за автобусную остановку, за газетный киоск. Хорошее место: если встать там, тебя не видно ни из окон, ни с перекрестка, ни даже с неба, наверное. Пункт четвертый: вставить аккумулятор в телефон и набрать сто двенадцать. Пункт пятый – по ситуации. Сейчас ситуация требует, чтобы тихим и зловещим голосом он сказал диспетчеру: «В торговом центре на Октябрьской бомба». Пункт шестой: вынуть аккумулятор и бросить за киоск, телефон – в урну. Пункт седьмой: вернуться в дежурку другой дорогой.

Даже стыдно, что так страшно. Поймают, обвинят, задержат, запрут где-нибудь, а он ведь ни сном ни духом.

А он ведь сейчас, вероятно, спас несколько человеческих жизней. Или даже несколько десятков: с «Бедной Лизой» шутки плохи.

Он и не собирается шутить с ней, поэтому едет на Октябрьскую площадь. Человек, который поет что видит, неуязвим и защищен: «Бедная Лиза» ничем ему не навредит. Вот он и едет посмотреть на нее.

Если в прошлом году еще было любопытство к ее непостижимой природе, то сейчас не осталось ничего, действительно, – кроме желания посмотреть. Так всю жизнь и смотрел бы,

глупый человек: вот она – глубокий и гладкий отлив волос, безупречный трафарет губ и разлет бровей, надменно и царственно вскинутый подбородок. Неприметная одежда: серая куртка в клетку, джинсы в обlipку, рюкзачок за плечами.

А ведь было дело, носился с ней как с писаной торбой. Папку ее держал под рукой, делал вид, что изучает историю объекта, а по правде – просто открывал перебрать фотографии и помучиться, какую красавицу проглядели.

Четыре года назад был студенческий митинг на Восточном мосту. Крики, лозунги, требования, оцепление, толпа. Веселая и безбашенная молодая сила. И пока одних винтили менты, пока другие возносились на плечах товарищей и восторженно орали в мегафон, пока третьи снимали все действие на видео, второкурсница режиссерского факультета Регина Филиппенко бросилась с моста. Потом говорили, что от несчастной любви. Из наших, – думалось тогда, – из наших, из глупых людей: нашла куда идти со своей несчастной любовью.

А потом чей-то цепкий взгляд выхватил мертвую Регину Филиппенко из фотохроник с живыми людьми. Потом кто-то сложил два и два и обнаружил, что она обязательно появляется там, где собралась человеческая толпа и где кто-то погибнет. Зачем придумали звать ее «Бедной Лизой», науке неизвестно, да и нет никакой науки, хотя стоило бы уже попытаться объяснить...

На Октябрьской площади все уже кончилось: вот стоит фура с надписью «Всегда свежие продукты», своротившая несколько – пустых, слава богу, – ярмарочных палаток. Вот, кажется, водила: живой, без царапины, дает показания, взмахивая руками и чуть ли не кидаясь на шею ментам. Понятное дело. Мог бы угробить несколько человек, а повезло: всего-то раздавил десяток коробок свежей выпечки, раскатал по асфальту пару тюков китайского шмотья. С этим можно жить. Вот в торговый центр после снятия оцепления возвращаются покупатели.

А вот и «Бедная Лиза»: бредет прямо навстречу, огибая серые мартовские лужи, улыбаясь каким-то своим мыслям. Надо же, мертвая – и улыбается.

Надо же, мертвая – а как живая: бархатная родинка на щеке, тонкий шрамик над верхней губой, этот фантастический поворот головы – с такой осанкой не рождаются, ее выплавляют в адском горниле балетной школы; взгляд – светлый и любопытный.

И он, глупый человек, растерявшись, сам от себя не ожидая – вступать в контакт с объектами запрещено – вдруг говорит: «Привет!»

– Привет, – отвечает она.

– Я – Шурик, – глупый человек протягивает руку.

– Я – Регина, – у нее, мертвой, живая и теплая рука.

Это странно, это все очень странно: контакт-то запрещен, а между тем фольклор операторов говорит, что к объекту невозможно прикоснуться: он существует в ином пространстве.

Ведь бывает так, что смотришь на кого-то и понимаешь про него все и сразу. Вот и про Регину понятно: хорошая девочка, умная, добрая; и она, конечно, хотела жить, и любви в ней хватило бы на троих, просто однажды стало слишком страшно и слишком одиноко.

И она тоже понимает про глупого человека Шурика все и сразу. Например, как он живет в непроходящем похмелье, клянется себе завязать и каждый вечер накидывается. Как с утра ищет в карманах смятую бумажку, на которой вчера записал, кажется, самое лучшее свое стихотворение, разворачивает дрожащими руками, а там написано только «музыка», и все. Как по воскресеньям ездит в дежурку к черту на кулички, потому что это такая работа, такой, можно сказать, долг перед человечеством, и еще такое нормальное любопытство к непостижимым объектам.

– ...Ты хрена ли встал, – говорит кто-то прямо над ухом, – ну-ка руки в ноги, на Циолковского объект «Фирс»! Им сегодня медом, что ли, намазано?

Глупый человек Шурик оборачивается и удивляется, что это говорят не ему. Длинный парень в черной бейсболке только что смотрел на Регину раскрыв рот – и вот покорно выслушивает неприметного пожилого мужичка, мрачнеет, весь подбирается и бежит к трамвайной остановке. А мужичок, будто не заметив Шурика, идет за ним следом.

Надо же, какая круглая земля. На весь город шесть дежурок, на каждую по семь операторов, каждый дежурит один день в неделю, всего, значит, сорок два. Шурик оглядывается. Интересно, сколько еще операторов сейчас на Октябрьской? Что будет, если не ехать на Циолковского? Ведь формально-то он не слышал про «Фирса».

А Регины, оказывается, уже нет. Стоило отвернуться на минуту... Ни рядом, ни вокруг, ни вдалеке: канула в свое иное пространство, значит. И без нее сразу пусто и нехорошо, сразу нечего делать. Значит, придется ехать.

Трамвай подъезжает почти пустой, и Шурик устраивается на длинном заднем сиденье. Он себя хорошо знает, но все равно вытаскивает из кармана фляжку коньяка и делает большой глоток. Становится тепло, уютно и лениво. Становится просто нереально влом торопиться куда-то. До места – это с ума сойти – шестнадцать остановок. Примерно к десятой остановке он придумает повод соскочить и свалить куда-нибудь, где можно сидеть и ничего не делать. Как всегда.

«Фирс» один из самых дрянных объектов. Маленький опрятный старичок в яркой спортивной куртке, бывший директор какого-то ведомственного санатория. Двое детей, четверо внуков, правнук, дом полная чаша, но жизнь иногда поворачивается как хочет, а смерть тем более. Когда все дети и внуки разъехались на новогодние праздники, пока соседи выпивали, доедали салаты и смотрели телевизор, «Фирс» трое суток умирал один на полу кухни.

И вот, если он появился во дворе дома, прогулялся неспешно, заглядывая в окна первых этажей, сел на лавочку у подъезда, – пиши пропало. Это взрыв бытового газа как минимум.

Глупо все устроено: сейчас несколько человек, отличающихся от прочих только способностью видеть непостижимые бродячие объекты, едут на улицу Циолковского, чтобы обшмонавать там два десятка подвалов, с разных номеров прозвониться в службу газа, опять наврать про бомбу, чтобы эвакуировали пару домов. Бред же, нет? Скажи кому – не поверят...

Хуже только объект «Аленка», или нет, «Вера Павловна» хуже.

Ведь было дело, первое время сидел в дежурке над папками, искал в интернете криминальные сводки, безнадежно удивлялся, как дерьмово устроен мир. Бросил тогда читать и смотреть кино, жил неуверенно и шатко, все время болело под ребрами слева, и он, глупый человек, думал, это сердце, пока не провалялся в больнице три недели с острым панкреатитом, потому что пил как не в себя, а потом все как-то улеглось. Жизнь потянулась ровная, серая, как будто и не жизнь вовсе.

Остался только один вопрос, которым Шурик изводил себя каждый раз, когда напивался. Вот, например, объекты. Бывшие живые люди, на которых всему миру было наплевать. Они стали такими потому, что простили миру его наплевательство, – или, наоборот, потому что не простили. Или если переформулировать: они великодушно являются предупредить о грядущих бедах – или приносят эти беды с собой? Тут ведь и не поймешь, что хуже...

Не поеду я на Циолковского, – решает Шурик, – вот не поеду, и все.

Он выходит на остановке «Школа» и бредет во дворы, к желтой пятиэтажке, к подвальной двери с надписью «Домофон-сервис» и вечной табличкой «Закрето». Все дежурки можно открыть одним ключом, это они правильно придумали. Там тепло. Там, может быть, даже есть какой-нибудь старый диван. Инструкцию он не нарушает: оператор в день дежурства может

вернуться не на свою, а в ближайшую к месту происшествия точку. Можно считать, что пятая дежурка ближе всего к Октябрьской, правда ведь?

Хорошо, что операторов не выгоняют за пьянство. Новых-то хрен найдешь. И потом, кто будет держаться за работу, на которой ничего не получает?

И вообще, твою мать, – думает он, поворачивая ключ в замке, – что толку держаться за жизнь, в которой есть эта самая работа по воскресеньям, бухло, стишки и идиотская любовь к объекту «Бедная Лиза»?

Произнесенное про себя удивляет глупого человека Шурика. От слова «любовь» становится неловко и горячо. Вот сейчас бы еще чихнуть, чтобы кто-нибудь сказал «Правда». Вот же влип...

А дежурка-то не пустая. Сегодняшний Пятый такой же баклан, как Шурик: не поехал на Циолковского, сидит, задрал ноги на стол, таращится в телик.

– Да что ж за день сегодня такой, – говорит он Шурику вместо приветствия. – Водку будешь?

– Буду.

– Я Павел. Seriously, будешь? Правда?

– Я Александр, – в тон ему, солидно, представляется Шурик. – Наливай уже.

– Отлично! – как-то неуверенно говорит Павел. – Значит, выпьем. А вот такой у меня вопрос: например, при эвакуации точки, если архив оцифрован, папки с собой обязательно тащить или можно просто жесткий диск забрать?

– По-моему, можно только диск.

– Уже неплохо. – Павел, похоже, нормальный мужик, но мутноватый какой-то, серый. Наверное, все операторы такие.

Шурик усаживается в продавленное кресло, опрокидывает стопку, выдыхает. Пятая дежурка теплее и уютней Третьей, нельзя не признать. Повезло им...

– Я позвоню? – спрашивает Павел, подходя к телефону на столе.

– А что, можно? – удивляется Шурик. – Я думал, он только на входящие...

– Раньше был только на входящие. Теперь набираешь ноль, длинный гудок, единицу, две тройки – и пошел прозвон. Вообще-то удобно.

Шурик расстегивает куртку, наливает себе еще и почему-то равнодушно, без всякого удивления слушает, как Павел говорит в трубку: «Код три двойки, эвакуация, на Пятой объект “Орфей”».

## Екатерина Перченкова

### Лес на самом деле

Последние тридцать лет у Зои Никитичны было достаточно времени для чтения. Книги развлекали, утешали, озадачивали, а еще утверждали, что в старости человек должен обрести смирение и покой. Зое Никитичне, наверное, выпала какая-то неправильная старость. Иногда вечером, усевшись на крыльце с кружкой чая, она надеялась, что обрела это покойное, книжное состояние. То осыпался яблоневый цвет, то стрижи разрезали светлое небо над темными силуэтами садовых деревьев, то сентябрь окрашивал черноплодную рябину и девичий виноград в непереносимо прекрасный алый.

Вся предыдущая жизнь становилась безболезненной, воплощалась в медлительном наблюдении за окружающим миром; нет, «наблюдение» – неправильное слово: в созерцании. А потом она шла мимо соседей Гусаровых к питьевому колодцу, и гусаровский правнук Женька нес в садке круглого золотого леща с круглым безвоздушным ртом; и варила варенье, а в кастрюле тонула оса; или просто бабочка залетала в дом и билась в стекло, и Зоя Никитична понимала, что нет и никогда не будет ни смирения, ни покоя, и хотелось кричать и плакать.

Когда-то она больше всего на свете боялась умереть зимой, в квартире. Был девяносто пятый, кажется, год. Она восемь лет как вышла на пенсию, три года как похоронила мужа, тринадцать лет не видела сына. Ходила, так прямо и думая: ужас-то какой, умереть зимой, в квартире, одной. И тем же январем ее забрали на скорой из магазина, а из скорой унесли прямо на операционный стол, а потом серьезно, сочувствуя объяснили, что у нее большие проблемы по женской части и все может кончиться очень плохо. Зоя Никитична удивилась этому, забытому – «по женской части», – разве в ней оставалась еще какая-нибудь женская часть? И приготовилась умереть, трезво рассудив, что это можно сделать в больнице, то есть не в квартире и не в одиночестве. Но потом пришли хорошие анализы, смерть отодвинулась на неопределенный срок, и еще лежал снег, а Зоя Никитична уже развела на подоконнике помидоры и перцы, чтобы посадить в мае.

Человек, избежавший смерти, должен сделать что-то особенное. Зоя Никитична решила помириться с сыном. На самом деле они никогда не ссорились всерьез, просто однажды Вадик уехал на север, чтобы заработать, и сначала писал и звонил часто, потом реже, а потом вообще перестал. Зоя Никитична знала только, что он жив и что с заработками у него особенно не сложилось. То ли он оказался плохим сыном, то ли она плохой матерью, – стало уже не важно. Вадика следовало разыскать и непременно поговорить, потому что нет ничего непоправимого, пока все живы.

Перелистала записную книжку, подняла нескольких давних знакомых – а ничего не вышло. То ли и впрямь случилось что-то нехорошее, то ли сын не хотел вспоминать о ней. Но зато выяснилось, что Вадик на своих северах был женат, и теперь у Зои Никитичны есть две внучки, Ксюша и Варя. Ксюше десять, Варе шесть. Их маму зовут Лариса, она учительница французского языка. Она ничего не знает про Вадика, ей плевать на его мать и всех его родственников, он бросил ее и не платит алиментов, она не будет разговаривать...

Но Зоя Никитична заставила ее, сама не зная как. Вроде бы не умоляла и не убеждала, не обещала ничего – что взять с учительницы физики на пенсии? – но, кажется, именно учительское родство оказалось сильнее кровного и любого другого, и Лариса согласилась, что внучки должны познакомиться с бабушкой.

– А пожалуйста! – сказала она по телефону с каким-то звонким надрывом. – Хотите, я вам их на все лето привезу? Ну, не бойтесь, шучу. Или бойтесь, кто вас знает, потому что мы приедем втроем. А потом, если все будет хорошо, я их оставлю... скажем, на неделю. Потому что внукам, как вы справедливо заметили, нужна бабушка. А мне нужен отпуск. Вы живете на даче? Прекрасно!

Лариса оказалась хорошенькая, ладная, кудрявая, в тонких умных очках. Очень нервная и очень злая, с трагическими жестами, восклицаниями и ежевечерним корвалолом. Это внуки Зои Никитичны были виноваты: они Довели Мать. И бабушку доведут, дай им только волю, – угрожала Лариса, строго поглядывая на девочек, примостившихся на диване перед неработающим телевизором.

Девочки были похожи одновременно на нее и на Вадика. Старшая Ксюша, высокая для своих десяти лет, круглолицая, стеснительная, с длинной русой косой. Младшая Варя, стриженная под мальчика и худая как щепка, пошустрее и побойче старшей сестры.

– Куклу купи, конфеты купи, и это им подай, и то, – упоенно перечисляла Лариса. – Маше барби подарили, и им подавай, а что мать на двух работах корячится, чтобы их хотя бы накормить и одеть по-человечески, в упор не видят. Очень хорошо, Зоя Никитична, что у вас дом в деревне. Может, поймут, что на участке нужно не только ягодки покушать, но и поработать!

Не будь Лариса матерью внуков, Зоя Никитична, пожалуй, невзлюбила бы ее. Все три дня, что невестка провела в деревне, она только и делала, что суматошно хваталась за всякую работу, попутно выговаривая девочкам за лень. То затеяла полоть сорняки в самую жару, то носить воду из колодца на руках, хотя Зоя Никитична всегда возила ведра на тележке; от ее звонкого нервного голоса болела голова. То, узнав, что свекровь продает чернику на рынке, собрала девчонок за ягодами в лес.

Зоя Никитична любила лес даже больше своего сада. И размечталась уже, как покажет внукам старый дуб на опушке, болотную канаву, заросшую пахучими белыми цветами, тайные черничные поляны, где ягода крупнее и слаще; и пожарище в зыбких розовых огнях иванчая, и камышовую заводь, и родник за темным ельником... Но Лариса даже этот волшебный поход умудрилась превратить в мучительную и тоскливую повинность. Ксюша и Варя, одетые в наспех подобранные жаркие шмотки, закутанные в платки, облитые с ног до головы пахучим репеллентом, уже через час начали канючить, вызвав очередной взрыв негодования матери. Ксюше было назначено набрать трехлитровый бидон черники, Варя, как младшей, небольшую банку.

– Да что вы, Лара, – уговаривала Зоя Никитична, – мы с вами ягод наберем, а девочки пускай просто погуляют.

– Им бы все гулять! – истерически звенела Лариса. – А как матери с бабушкой помочь, сразу ныть! Ксюша, пока не наберешь бидон, домой не пойдем! Варя, прекрати реветь, я сказала!

Следующим утром, провожая невестку на шестичасовой автобус, Зоя Никитична кое-как нашла в себе силы пожалеть ее – нервную, задерганную на двух работах, еле справляющуюся с детьми.

Девочки махали автобусу вслед фиолетовыми от вчерашней черники руками, и Варя опять ревела. Ксюша рассеянно смотрела куда-то мимо автобуса, а потом безнадежно спросила:

– Теперь опять в лес?..

Зоя Никитична сделала вид, что задумалась.

– Теперь... теперь, наверное, домой готовить завтрак. В девять откроется магазин, пойдем за мороженым. А потом купаться.

У Вари сразу высохли слезы. Она гордо сообщила, что ходила в бассейн и умеет плавать.

...После похода на речку и обеда девочек разморило, они заснули в обнимку на диване, а Зоя Никитична наведлась к соседке Гусаровой и попросила каких-нибудь детских вещей, оставшихся после Ольги и Сашки. «Что с нее взять, городская, – насмешливо говорила она про Ларису, – привезла девок в сарафанах, в босоножках, в лес пойти не в чем!» – «Откуда у тебя внучки-то взялись?» – недоумевала Гусарова. – «Память у тебя девичья, – смеялась Зоя Никитична, – Вадькины дочки, ну? Ты мне найди что-нибудь такое, знаешь, зелененькое, коричневое, серое...»

Следующее утро опять началось с мороженого. Ксюше понравилось ходить за водой с тележкой, а Варя пристроилась объедать смородину в тенистом углу сада. Зоя Никитична все же немного опасалась, что девочки без материнского присмотра устроят праздник непослушания, тут-то она и поймет правоту строгой невестки. Но внучки говорили «спасибо» и «пожалуйста», мыли за собой посуду, убрали игрушки и книжки без напоминаний и, кажется, все время ждали грозного окрика матери.

После обеда жара отступила, небо затянуло прозрачной белесой дымкой, пришел небольшой ветер. Девочки вытащили во двор старое покрывало, расстелили на траве, повозились немного и уснули. Зоя Никитична сняла с веревки в саду выстиранные детские вещи, разложила на спинке дивана, а потом открыла шкаф и достала свое лучшее платье – точнее, единственное свое красивое платье, крепдешиновое черно-зеленое с узором из ореховых листьев и фиолетовой искрой.

...Ксюша и Варя, проснувшись, смотрели на нее во все глаза. Вместо скромной старушки в синем застиранном сарафане их разбудила красивая, нарядная бабушка. Чего стоил один серый – нет, серебряный, – газовый шарф в прозрачных папоротниках, повязанный вокруг высокой прически. Какими изумрудами сияли стеклянные зеленые серьги в бабушкиных ушах.

– Куда мы пойдем? – восторженно спросила Ксюша.

– В лес, – сказала Зоя Никитична. – Только обещайте, что никому не расскажете.

– Чего не расскажем?

– Я вам покажу, как на самом деле ходят в лес.

Пришлось еще немного повозиться, одевая девочек так, чтобы получилось и удобно, и красиво, и чтобы не покусал никто в лесу. Зоя Никитична открыла шкатулку с украшениями, и Ксюше достались длинные бусы из мелких серо-зеленых камушков, а Вале брошка в виде свернутого листа с круглой жемчужиной. Были у бабушки два шелковых платка – серый с журавлями и коричневый в зеленую полоску, – приспособила внучкам вместо косынок. Так и вышли втроем, нарядные, почти в пять часов вечера, под удивленными взглядами соседей.

Ни на пожарище, ни на дальний черничник в этот раз не повела их Зоя Никитична. Обошли западную опушку, поглядели на старый дуб, набрали мяты. Ксюше попала семейка лисичек. Неторопливо прогулялись мимо высоких сосен, навестили родник, напились холодной лесной воды. Девчонки затеяли играть и носиться, а Зоя Никитична, не теряя их из виду, набрала немного черники и нарезала иван-чая. Под кустом бузины обнаружилась нора, в которой, кажется, кто-то шевелился. Варя два раза видела ящерицу и один раз очень большую лягушку, может быть, даже жабу. Наткнулись на старые угли посреди большой поляны, запалили маленький костерок, поджарили на прутиках черный хлеб.

Солнце уходило спать, и лес в его последних лучах был золотой и черный. Засобирались домой, девочки набегались и проголодались; и тут Варя обнаружила, что потеряла брошку. Съежилась, втянула голову в плечи, ожидая, что бабушка станет ругаться. А когда поняла, что не станет, все равно заплакала: было очень жалко красивой брошки.

– Смотри, Варя, – утешала ее бабушка, – мы ягод набрали, и грибов, и травы, сколько всего из леса несем. Надо иногда и в лес приносить что-то. Ты не жалеяй, лучше посмотри кругом. Может, найдешь что-нибудь взамен.

И сразу повезло: сделав шага три, Варя нашла огромный, невероятно огромный белый гриб. Зоя Никитична таких не находила ни разу, только пару раз видела в корзинах у других грибников.

– Вот видишь, – сказала она, – так всегда и бывает. Одно потеряла, другое нашла.

И порадовалась про себя, что так удачно подвернулся этот белый, и про себя же сладко засомневалась: неужели и правда – взамен брошки?

Вышли из леса в половине десятого; не там, где входили, а у излучины реки внизу деревни. Над водой и дальше, вдоль высокой травы и старых ив, стелился туман.

Зоя Никитична достала из сумки керосиновый фонарь, зажгла и торжественно вручила Ксюше. Сумерки мгновенно сгустились вокруг огня, туман стал белее и непрогляднее, в нем то вылетала из-под ног маленькая темная птица, то вставал навстречу грозный высокий татарник; и они втроем молча прошли с фонарем через этот огромный туман, поднялись в деревню и вернулись домой.

Так и ходили с тех пор – в любое время, ненадолго или на целый день, носили с собой просо для лесных птиц, набирали воду из родника в алюминиевые фляжки, сочиняли новые наряды и украшения – шкатулка Зои Никитичны оказалась безнадежно разорена; сушили лекарственные травы и грибы на веревке под потолком, а красивые листья и цветы в тяжелой старой книге по домоводству. Выпросили у Ларисы еще неделю, отчитавшись о достойно совершенных огородных работах, собранных ягодах и примерном послушании (то есть, наврав с три короба). Ходили в лес – играли в лес, – и Зоя Никитична играла серьезней и влюбленнее всех. То ли запоздало тосковала по никогда не рожденной девочке, выглядывая ее любимые черты в маленьких внучках, то ли сама в свои шестьдесят четыре еще была девочкой, восторженно следящей за бегущей ящерицей.

А когда попрощались до будущего лета – Варя высовывалась из окна автобуса и кричала: «Баба, ты нас жди!» – затосковала еще сильнее и совсем заигралась.

То жила как-то с осени до весны, а то всю осень, и зиму, и еще до конца мая ждала девочек из всех сил и готовилась к их приезду. Все, что было отложено на черный день, истратила, чтобы сделали хорошую лестницу на второй этаж и поставили там две кровати: не все же внукам ютиться на разложенном диване вдвоем. Перевезла из городской квартиры постельное белье, покрывала, пледы и даже посуду. Безжалостно избавилась от подбитых дачных чашек, купила глиняные суповые тарелки с глянцевыми папоротниками на дне, и блюда, и кружки, и заварной чайник с еловой шишкой на крышке; и натянула под потолком новые бечевки для сушеных трав, и во всех окрестных магазинах для рукоделия скупил бусы и бисер зеленых, коричневых и серых лесных цветов, и завела в доме свечи, хотя всегда побаивалась открытого огня и возможного пожара.

Ксюша и Варя приехали.

Ксюша вытянулась еще выше и сильно похудела, Варя болела бесконечной ангиной, и ей больше нельзя было мороженого. Лариса оглядела преобразившийся дом, новую комнату

девочек на втором этаже, махнула на все рукой и уехала в Крым, оставив внучек с бабушкой до конца лета.

Зоя Никитична вылечила Ксюше прыщи чистотелом и мятной водой, а Варю ангину травяными полосканиями, и снова ходили на речку, и за мороженым, и в лес. Девочки привезли с собой корзинки, и складные ножи, и длинные охотничьи спички, – тоже, стало быть, ждали лета. Варя так хорошо подросла, что почти не уставала больше; вскоре стали уходить в лес рано утром, взяв с собой хлеба, огурцов и соли, и возвращаться ближе к ночи. Купались там же, найдя на Донке песчаный спуск к воде; жарили грибы на костре, спали на сухом светлом мху. А вечером, дома, ждала горячая еда, и травяной чай, и жестяной таз с нагретой водой, и ромашковый настой, чтобы у Ксюши были красивые волосы, и терпкий напиток из прошлогодней сушеной калины, чтобы у Вари не болело горло; и подушки, набитые сеном и сушеной мятой, на которых так сладко спалось.

Тамарка Прохорова, дурища, как-то явилась вечером поболтать – и давай доказывать Зое Никитичне, что с невесткой надо быть строже, а то подбросила внучек, усвистела хвостом крутить, – все к тому идет, что девки ей не нужны, а ты сама подумай, у тебя возраст, давление, ты справишься ли?

И Варя с Ксюшей, как назло, играли в смородине и все слышали.

Зоя Никитична только и сказала в сердцах: «Вот же ведьма!» – как девочки метнулись на край поля за чертополохом, чтобы повесить его над дверью, и за свежей колодезной водой, чтобы вымыть после Тамарки Прохоровой крыльцо. Этого бабушка им никогда не рассказывала, да и сама не знала, – должно быть, вычитали где-то. Хотя Ксюша читала в основном старые журналы «Наука и жизнь» и детские детективы, а Варя «Веселые картинки» и справочник «Съедобные грибы Подмосковья».

Девочки росли красавицами. Зоя Никитична никогда не думала об этом, – родная кровь всегда милее и ближе, – а тут, под конец лета, начала приглядываться к ним и сравнивать с другими деревенскими детьми. Крепкие, загорелые, золотоволосые, – в лесу волосам никак не выгореть в жесткую деревенскую солому, – и глаза прозрачные, русалочки, серые: у Ксюши в зелень, у Вари в голубизну.

Соседка Гусарова все прилаживалась, подбиралась пообщаться: то ли по душе ей были Зойкины внучки, то ли из обычного любопытства к чужой жизни. Напросилась как-то на чай, вошла в дом и ахнула. Вместо пожелтевшего старого тюля зеленые шторы в камышах. Вместо побитого чайника начищенный самовар. Легкий, летучий дух трав и грибов, россыпи коряг, шишек и речных камней.

– Зойка, да у тебя и чашки с папоротниками! И горшок, смотрю! И чайник! Хорошо как подобрала, а? Это ты специально? То-то, смотрю, из леса не выездаешь с девками. Вас там лешие не покусали еще? Ты сама-то не ведьма случайно? Это я не чтобы обидеть... а вот что подумала-то. Зойк, а ты радикулит заговаривать не умеешь?

Зоя Никитична не умела. Но читала о рефлексотерапии в журнале то ли «Здоровье», то ли «Физкультура и спорт». Отвела соседку в смородину, где погуще, чтобы никто не видел, скомандовала приспустить юбку и приподнять кофту и от души отхлестала ее крапивой по пояснице. Гусарова ойкала, шипела и сдавленно матюгалась, а наутро ей полегчало.

Лето было, и еще лето, и еще одно, а потом Зоя Никитична перебралась в деревню насосем. Ларисе и девочкам городская квартира была нужнее, а ей соседи помогли утеплить дом и наладить печь; Гусарова давно пустила слух, что соседка может заговорить болезнь, и к ней стали относиться с уважительным трепетом. Подумать только, совсем недавно собиралась

помирать, – зимой, в квартире, одна. А теперь там, за столом, где раньше стояла швейная машинка, Варя делает уроки. И Ксюша читает книги под торшером, который Зоя Никитична не включала, наверное, никогда. И Лариса смотрит свои сериалы по телевизору, который на Зою Никитичну прежде навевал только тоску. Девочки ходят в парк кататься на лыжах и сделали на балконе кормушку для снегирей. А потом придет лето, и он снова приедут. И снова лето. И еще одно. И так будет всегда.

А потом пришло еще одно лето, и Варя приехала без старшей сестры. Ксюша вышла замуж, ждала ребенка, передавала привет. Варя явилась уже загорелой, с моря, и обстригла свои чудесные волосы, – почти под мальчика, как в детстве, – и пила какие-то таблетки от нервов, так тяжело ей дался диплом. Первым делом поволокла бабушку в лес за черникой, – Зое Никитичне оказалось не под силу за ней угнаться, сильно сдала за последний год, – так и просидела весь день на бревнышке, следя, как Варина золотая макушка выныривает из папоротников. И в другой раз вышло так же, и в третий; вот и лето прошло, и еще одно, и еще.

Лариса с возрастом успокоилась, стала проще и легче, поправилась, сменила близорукие очки на дальнозоркие. Она первой поняла, что Зое Никитичне становится трудно, и стала навещать ее чаще, помогать в огороде, привозить продукты. «Хорошая девочка эта Лара», – удовлетворенно думала Зоя Никитична.

– Жизнь-то прошла, – печально говорила хорошая девочка Лара, сидя на садовой скамейке и переплетая седую косу, – Ксюшка-то с Максом и Кирюшей совсем уехали. Кирюша русского не знает. Как я по ним скучаю, кто бы знал...

Варя на будущее лето явилась совсем расстроенная и нервная, – что-то не ладилось у нее с аспирантурой и с молодым человеком, выбралась всего на неделю, – все лежала в саду на раскладушке с ноутбуком, курила и ругалась с бабушкой по любому поводу. Может, – запоздало подумала Зоя Никитична, уже провожая внучку на автобус, – это не она такая нервная, а у меня характер испортился. Говорят, так бывает от возраста. Мне-то незаметно, а со стороны...»

– Иди уже, обнимемся, – примирительно сказала она Варе. – Мало ли, не увидимся больше.

– Ты чего, ба?

– Да ничего. А то стоим с тобой как чужие.

И Варя обняла ее так отчаянно и жарко, что Зое Никитичне стало совершенно ясно: да, больше не увидятся. И сама так думала в последнее время, и Варя вот почувяла... Жалко только, Ксюшу так не обнять. Прослезилась, конечно, и Варю расстроила. Они обе часто плакали в последнее время.

Жизнь не прошла еще, – но проходила мимо, мерцая своим драгоценным остатком, дразнясь напоследок солнцем и зеленью, и Зоя Никитична уже третий год не ходила в лес, боясь за сердце и ноги, и сама себе болезненно признавалась, что скучает по своему лесу еще сильнее, чем по внучкам. Что дом и сад становятся светлой и зеленой, но тюрьмой: она уже до магазина боялась дойти без помощи, а дальше только хуже. А ведь ей-то, выучившей на старости лет все лесные травы, умывавшейся в болотной воде, колдовавшей для Ксюши и Вари купальские огни и грибные поляны, нельзя умирать под крышей. Но так все и кончится, куда деваться...

Нет, подумала Зоя Никитична, не так.

Вытащила из-под дивана старый большой чемодан и достала свое лучшее платье. Еще весной показывала Ларе, говорила: это на меня наденьте. Платье было чудесное, впору даже молодой: из мятого китайского шелка, длинное в пол, в коричневых, и зеленых, и рыжих, и

светлых пятнах, с алыми брызгами кое-где, похожими на ягоды. Варя привезла когда-то в подарок, с явным намеком на то, прошлое платье, истрепавшееся по ельникам и папоротникам и ушедшее на тряпки, а она только ахнула – и не решилась надеть, отложила себе напоследок.

Грех замыслила – подумала мимолетно, и тут же возразила себе: а платье такое в землю – не грех?

Только и делала весь вечер, что спорила сама с собой. То в ней плакала и жаловалась маленькая, почти сошедшая с ума старушка, которой вдруг втемяшилось, что внукам нехорошо будет возвращаться в дом, где она умерла, хотя внукам-то что, вон, Варя только неделю нашла за все лето повидаться с бабкой, а Ксюша навсегда уехала, ой, горюшко... То просыпалась другая, еще крепкая и веселая, которая надела свое лучшее платье, и серьги, и бусы, и узорную шаль, – и собралась в лес, ничего плохого не имея в виду. То ли обе Зои Никитичны наконец договорились между собой, то ли устали спорить, – она выпила таблетку капотена, отключила рубильником электричество, взяла фонарь, вышла, закрыла за собой дверь на оба замка и положила ключи под крыльцо, как было заведено у них с девочками.

С ума сошла, конечно. В самые сумерки добрела до леса, едва дыша. Со знакомой дороги свернула туда, где не ходила еще ни разу, – кругом дубовой рощи, за болото, за пожарище, по извилистой сырой тропе. На прошлой неделе еле доползла до магазина, а тут прошла уже в двадцать раз больше, и пока ничего. Ноги держат. Сердце кое-как работает. Надо просто идти и идти, и будь что будет.

Фонарь пах керосином и притягивал мохнатых мотыльков. Очень глупо, но захотелось есть и пить. А потом пришло в голову, что хватит, пора возвращаться домой. Крепкая бабка оказалась Зоя Никитична. Может, еще повоюет.

Справа внизу блеснуло, – то ли излучина Донки, то ли старица, – на берегу можно было напиться, умыться и отдохнуть. Зоя Никитична постояла немного над бегущей водой, посмотрела на отражение фонаря в темной зыби, приготовилась осторожно спускаться, и вдруг услышала внизу барахтанье и тонкий захлебывающийся всхлип.

Кто-то тонул в двух шагах от берега.

Ребенок, – поняла Зоя Никитична, поймав глазами маленькую руку, вцепившуюся в нависшие над водой ветки ивы. Рука тут же разжалась и исчезла.

Зоя Никитична уронила фонарь и кинулась вниз не глядя. Упала, съехала вниз по глинистому берегу, с разбегу влетела по пояс в ледяную воду, и тут в груди больно дернулось, обожгло и остановилось.

– Черта с два, – сказала она себе и дотянулась до тонувшей малявки.

Малявка, едва почуввав ее прикосновение, вцепилась всеми руками, ногами, кажется, даже зубами и затихла, перестала дергаться. Девочка, поняла Зоя Никитична. Запуталась волосами в растущем из воды ивняке, могла и правда утонуть, вода-то ледяная. Еле удалось распутать, надо же, длиннющие какие.

Освободив малявку, она подхватила ее и потащила на берег.

Девочка, правда. Лет семи-восьми, худющая, в длинной рваной майке до колен, лохматая, со смешным лягушечьим ртом. Зоя Никитична крепко вытерла ее одной половиной шали, закутала в другую. Все равно, подумала, простудится.

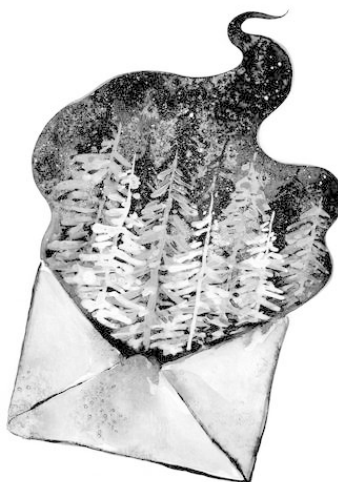
– Ты чья? – спросила она малявку.

Та крепко прижалась к ней, вздрагивая и ничего не отвечая.

– Ты откуда тут? Есть у тебя мама с папой? Где они?

Малявка вдруг подняла голову и клюнула ее в щеку холодным поцелуем, вывернулась из объятий и бросилась куда-то в заросли.

Зоя Никитична тяжело села на мокрую траву и сразу подумала, что нельзя было садиться: комары заедят. Но комары не кусались, только звенели вокруг. И холодно, кажется, не было. И ничего не болело. На тропинке, уходящей в заросли, едва различимо светились малявкины следы.



## Нина Хеймец

### Читающие в темноте

Куда уводят слова? Что в них, если закрыть глаза и сосредоточиться? Например, «человек». У меня – скрученный из проволоки каркас с бьющимся среди медных ребер сердцем, под ним – черный туман земли. У Джо – смеющаяся маска, из ее глаз вырывается белый огонь; маска отдаляется, уменьшается, становится одним из светящихся ночных окон. У Кати – вихрь ультрамаринового, его края разлетаются галактиками, астероидами, солнцами. Что такое «солнце»? Слова дробятся до бесконечности, за каждым – пространства, переходящие одно в другое. Должен быть способ встретиться, – решили мы, – а если такого способа нет, нужно всегда отдавать себе в этом отчет. Так родилось наше сообщество читающих.

\* \* \*

Получил конверт от Джо. Выключил свет, изучал. Запах не распространяется, а улавливает и оставляет в себе все. Пойманное становится острым; короткое вытягивается, глухое делается звонким. Все объемное, но нельзя попасть внутрь: нет места, остаешься снаружи. Снаружи запаха, снаружи воздуха, снаружи дерева; потом сливаешься с ними и снова оказываешься вне их. Щелкнул выключателем. В конверте какие-то щепки; пахнут смолой. Привет, Джо.

\* \* \*

Пишу Кате. Кварцевые бусины кладу в конверт. Гладкое сталкивается с гладким, звук ударяет звук, ударяет звук. Деревья, качаясь, касаются друг друга тенями. Сонар нащупывает корабль, ушедший в дно мачтами.

\* \* \*

Письмо от Джо. Живое уходит сквозь воронку. В осоке на берегу сидит ящерица, считавшаяся вымершей. На глобусе-голограмме вспыхивают и гаснут огоньки. Что за каждым из них? Я сосредотачиваюсь, но пока не могу разглядеть.

/пустая ракушка садовой улитки/

\* \* \*

Джо достает из конверта кусок серого картона. Это от Кати. Джо проводит по картону пальцами. Волокна ничего не сообщают, словно дерево стало стеклом; словно рыба стала льдом. Лед вытягивает явления из самих себя, заменяет их собой. Оттаявшие рыба, или дерево, или дом возвращаются не сразу (неважно, мертвые или живые). Прежняя рыба, прозрачная и невесомая, находится где-то рядом и вливается в себя, заполняя оставленные льдом клетки. Пахнет пеплом и сыростью. Джо вдыхает запах и вспоминает давнюю поездку на вулкан. В туристическом автобусе работал кондиционер. В салоне демонстрировали фильм про лаву и ее исследователей: люди в огнеупорных костюмах приближались к жерлу огня и вонзали в него специальные датчики. Автобус карабкался по серпантину. Ввысь уходили стволы деревьев; гигантские папоротники ластились к стеклам. Наконец под колесами зашуршал гравий, авто-

бус остановился на парковке. Все вышли. «Вулкан» – фонтан огня, вода огня, земля огня. Но вокруг, куда ни посмотри, была черная пустыня. Сожженные холмы перемежались черными долинами и уходили к горизонту. Над головами людей, закрыв собой все небо, нависло серое облако. Только в одной из сторон света – кажется, это был юг – между облаком и пустыней вытянулась ярко-синяя щель.

\* \* \*

Синее неподвижное небо за полуоткрытой створкой деревянной ставни. Дует ветер, но небо не приходит в движение. Створка ставни покачивается на застывших петлях.  
/Весточка от Кати: песок, оставленный ветром на подоконнике/

\* \* \*

Мир заполняется знаками. Расщепленная ветка: резкий запах древесного сока, подрагивающие вертикальные линии – от земли до ее первого отражения. Свет фар в горах. Мокрое птичье перо, прилепившееся к стеклу. Шорох среди скрежета, стрекот среди шепота. Зернышки риса на асфальте. Письма могут быть без адреса, послания – без отправителя.  
Мы разговариваем друг с другом.

## Нина Хеймец

### Батискаф

Мы варим варенье из инжира, когда сезон, а когда сезона нет, собираемся просто так. Сейчас – сезон, на рыночных прилавках пирамиды тускло-зеленых, словно заглотивших уличный свет плодов вытесняют красное, оранжевое и иссиня-черное остальных дней. Мейрав выходит к воротам. Солнечный диск касается горизонта – будто детские качели вверх ногами. Реувен выгружает из багажника пластиковые коробки с инжиром и относит их на террасу. Уже все в сборе, уже водружен на походную плитку синий эмалированный таз с кораблями и лунами – находка Эльдада на барахолке в старом Яффо. Дом Мейрав стоит на краю улицы, улица – на краю города, город – на краю пустыни. На ярко освещенной террасе человеческие фигуры – словно водолазы в батискафе. Все воды мира соединяются, передают друг другу усилие – от бесследно испарившейся капли росы в дюнах до неожиданных ливней до гигантских водопадов до океанских течений, на тысячи километров перемещающих бесцветных рыб, – наваливаются на прошитые клепками стены, и не могут смять их, свести в точку, нераспознаваемую в водной толще. Так и темнота вокруг террасы – подступает, охватывает, но не заполняет собой куб освещенного воздуха. И свет в темноту не проникает – только подсвеченные крылья мотыльков сразу за перилами, и больше ничего. То ли дело – запах. Закипает в тазу варенье, Мейрав снимает с него пенку серебряной ложкой, запах просачивается сквозь темноту, струится в воздушных потоках, стелется в иссохших руслах. Звери ворочаются в тесных норах, поднимаются с песка серые бабочки, отрываются от скал птицы, хлопают крылья, на наших лицах – рябь от теней. Я отдвигаю стул, звук получается слишком громким. Мейрав оборачивается на него, варенье с ложки капает на пол. На каменных плитках тут же образуется муравьиная дорожка, тянется из песков.

/Дело, конечно, не только в варенье. Столько его никому из нас не нужно. Сьюзан пишет на банках «инжир», ставит дату аптекарским почерком и раздает их старухам, позвонившим по объявлениям, которые она расклеивает на бульваре Нордау и прилегающих к нему улицах. Старухи приносят банки домой, смотрят сквозь них на свет. Застывшие внутри инжирины кажутся им стеклянными./

Рано утром видно, сколько темноты пустыня вмещает в себя ночью. Мы выходим на рассвете, чтобы успеть вернуться, пока жара не стала невыносимой. Под холмами залегли синие тени, воздух еще не ровный, в нем есть течения и пустоты, задержавшись в которых на долю секунды, можно было бы ощутить, что весь воздух мира тоже соединен. Но со следующим вдохом – ты уже не там. Когда солнце поднимается к зениту, воздух уплотняется и отторгает живые тела.

Мы пересекаем очередное русло. Видимо, вода здесь подходит близко к земной поверхности, где-то под нашими ногами стоит море, живущее без света, как Маугли – без человеческой речи. В русле ручья – полусухая акация с плоской, будто стремящейся подхватить небо, кроной.

Ориентир – высохший колодец, закрытый бетонной плитой. В двадцати метрах к северу, за скалой – наш шкаф. В нем листы бумаги, фотографии, камни, карты, осколки металлические и стеклянные, ключи, а также некоторые другие предметы. Это была идея Сьюзан, когда однажды, после уроков, во втором, кажется, классе, они с Мейрав ушли гулять, сворачивали с одной улицы на другую, мимо белых домов с уже начавшими зажигаться длинными

окнами, мимо гигантских фикусов, заслонявших кронами верхние этажи. В какой-то момент они поняли, что не знают, как им возвращаться. Они пошли дальше. Когда они оказались за городом, было уже темно. Мимо промчалась машина, в свете фар они увидели лежавшего на обочине шакала. Сюзан и Мейрав надеялись, что при следующей вспышке света окажется, что он жив или – что его нет. Но он был, и ничего не менялось. Они похоронили его в дюнах, рядом с шоссе. Свет от машин здесь был гораздо менее ярким. Шакалье тело сливалось с бесцветной местностью. Они разгребли песок руками. Учебник арифметики тоже оказался очень кстати. Когда они снова вышли на шоссе, воздух взорвался синими всполохами. Рядом остановилась машина полиции.

...Тот случай не выходил у Сюзан из головы. Они шли в темноте, и мертвое тело было в каждой вспышке света. Однажды она нарисовала шоссе и шакала на нем. Он лежал на обочине, и стоял на шоссе, и исчезал в дюнах. Точки-фары светились вдали, на небе были звезды – такие же точки, Сюзан не была хорошей рисовальщицей. На балконе у Сюзан стоял пустой железный шкаф. На дверцах сохранились надписи Top Secret полустертыми готическими буквами, а внутри было заброшенное осиное гнездо. Сюзан и Мейрав положили рисунок на одну из полок. Первое время они заглядывали туда, проведать шакала. Они смотрели на гнездо с опаской: оставившие его когда-то осы могли там оказаться. Получалось, что и шакал мог оказаться, правда, они не могли знать, в каком из изображенных на рисунке состояний он бы был. Постепенно они перестали о нем вспоминать. Следующий рисунок был, когда они поссорились. Мейрав срывалась с горящей башни, скользила вдоль мертвого дна гигантским скатом, не была, входила к ним в палисадник. Потом приехала тетя Оделия, и Сюзан нарисовала, как тетя Оделия уже уехала, и не приезжала, и пароход плыл в другую сторону, и вместо моря была суша, а вместо суши – взвесь и пыль. Правда, когда в соседнем доме был пожар, как-то сразу стало понятно, что ничего другого не нарисуешь, и Эльдад – он тогда уже тоже знал про шкаф – положил туда раскрашенный красной гуашью листок с приклеенной к нему головешкой (и, кстати, не факт, что она была именно оттуда). Потом Реувен ушел на войну. В железном шкафу сразу стало меньше места. Однажды Сюзан сказала, что, по ее мнению, шкаф не должен находиться у нее дома, «а где – на улице?», и не на улице, и не в городе, и вообще не в чем – иначе получалось, что большее находится в меньшем, а к такому повороту никто не был готов. В пустыне – иначе, в ней все – точка, песчинка, независимо от объема, который оно занимает.

\* \* \*

Мы стараемся не наведываться к нашему шкафу без лишней необходимости, не открывать, не ворошить, не тревожить. Но, бывает, что другого выхода нет. Мы никогда не застаем ту же картину, что оставили. Из пустыни наносит песок, сухие стебли, перья. Однажды в шкаф попал снаряд – на военных учениях произошла какая-то осечка. Шкаф, как ни странно, уцелел. Правда, покорежился, и в нем перестали закрываться дверцы. Часть страниц разлетелась, некоторые нам удалось собрать. Были страницы, которые мы ловили, буквально, на лету, открыв окно машины. Но если раньше содержимое шкафа было сложено в определенном порядке, то теперь этот порядок нарушился, пласты перемешались. Кто мчался по отвесной стене на мотоцикле, кто нырял к огромным черепахам, кто смотрел на бледный диск солнца в зените и знал, что воды хватит меньше, чем на сутки, кто видел далекие огни? Любой из нас. Кстати, примерно в это же время возникла и идея с вареньем. Если все перемешалось, почему бы не воспользоваться обстоятельствами и не добавить что-то хорошее туда, куда его уже не добавишь? Я сейчас вспоминаю, что это сказала Мейрав. Наверное, так и не забыла ту историю с шакалом. Мы оставляем в шкафу варенье из инжира, банку-другую. Варенье превращается в сахар, в кристаллы, муравьи уносят их в песок; песок поднимается ветром, возможно все.

## Нина Хеймец

### Возвращение Реувена Хацвани

Реувен Хацвани вернулся в начале июня. Я помню дни перед тем, как он появился: в каждом из них – жара и неизменно синее, сияющее небо. Кажется, что солнечный свет наполняет его изнутри, проступает из его пор словно сок из переспелой груши. Наша акация третья от начала бульвара. На бульваре недавно провели реконструкцию – заменили разошедшиеся деревянные лавки металлическими скамейками. Скамейки нового типа рассчитаны на одного – на тех, кто сам по себе – и при этом расставлены кругами, вернее не расставлены, а впаяны в асфальт, и их не сдвинешь. Мы рассаживаемся на этих скамейках; если каждый из нас вытянет руки в стороны, мы будем соприкасаться кончиками пальцев, как парашютисты. Мы говорим о последних новостях: растут цены на все; молодая женщина выпала из окна, не пострадав, но, когда ее на всякий случай привезли в больницу, она стала произносить все слова наоборот, и предложения строить наоборот, и менять местами вдох и выдох, и вроде бы ни царапинки, но никто не знает, что дальше; и к побережью движутся стаи медуз, беспрецедентное количество. В полдень, если стоять на берегу и смотреть вдаль, то создается впечатление, что у горизонта появляется еще один берег – бесцветный и поблескивающий. Но никакой это, разумеется, не берег, это солнце отсвечивает от медузых тел; и скоро уже достроят подземный трамвай – по ночам слышно, как прокладывают туннель – под улицами что-то грохает, ухает, огромные машины вгрызаются зубьями в земную кору, на домах к утру проступают трещины.

Мы говорим и знаем, что скоро повиснет пауза – я буду пить кофе из картонного стаканчика, Янив развернет прохудившуюся на сгибах газету; Бекки заметит, что газеты для чтения на скамейке он все-таки меняет чаще, чем носки; Янив сделает вид, что не расслышал ее слова; Микки затянется сигаретой; Одед пожалуется на давление, и мы останемся с тем, что всегда перед нами, но мы до последнего стараемся туда не смотреть, не заглядываем, уходим тропинками подвернувшихся разговоров, разбрасываем конфетти происшествий, ткем чернильную завесу общих воспоминаний, шутим, держим сами себя взглядами, как вантовые мосты; но все это действует до поры до времени, а потом открывается пространство, такое прозрачное, что о его глубине невозможно составить представление. На одной его границе мы, на другой – Реувен. Там мы неподвижны, но, отведя, наконец, глаза – снова увидев сморщенные разлапистые акации, прохожих, смешного старика в бейсболке, разгоняющегося на облезлом самокате, девушку-очкарика с двенадцатью таксами на семи поводках, лучи солнца, проникающие сквозь переплетения листьев и веток и отбрасывающие блики на асфальте у нас под ногами – мы направляемся к Реувену, мы каждый раз это делаем. «А помните, как Реувен угнал пожарную машину, катался на ней по городу, включив сирену, а потом вернул ее на место, и выяснилось, что в пожарной части никто и не спохватился? А как мы получили от него открытки одновременно с Южного и Северного полюсов? А как он рекламировал подпольные курсы эскимосского? Помните?»

Реувен Хацвани исчез лет десять тому назад при невыясненных обстоятельствах. Никто из нас не знал, что случилось, да и случилось ли что-то – поначалу было неясно. Его исчезновение нарастало постепенно, копилось, точечно проявлялось – не был на дне рождения Янива, не пришел плавать под парусом вместе с Одедом, не встречался нам на бульварах, не звонил, не оказывался за соседним столиком в кафе, и в какой-то момент это были уже не отдельные точки, в которых – пустота, чернота с тонкими прожилками эфирных помех, а целое темное облако его отсутствия, вставшее над городом, над нами, надо всем.

Мы идем к Реувену, но дистанция между нами остается прежней. Вернее, оставалась – так было до определенного момента. Может быть, все случилось из-за меня: ведь именно я держал Реувена в курсе событий. Вот Реувен возвращается, и что же он видит? Его не было в мире, когда тот менялся, и теперь, чтобы войти в него, он должен разбить собой монолит, нарушить в нем слои, разорвать переплетения, и, оказавшись внутри, все равно быть отдельным, не совпадать прожилками с тем, что вокруг. Иногда я ловил себя на том, что рассказываю ему, что произошло за время его отсутствия – как если бы обстругивание дерева снять на пленку и потом прокрутить ее в обратном направлении: кончилась одна война и началась другая; на соседней улице построили небоскреб, и ветер с моря теперь ударяется об него и поворачивает обратно – там всегда сквозняк, а все, что приходит в голову, тут же из нее вылетает; в его доме, этажом выше, сгорела квартира, и там теперь новый сосед – довольно мрачного вида человек в кожаной одежде, с пирсингом в ушах и на верхней губе. Оказалось, что он – арфист в симфоническом оркестре, или где-то еще. Арфу свою он носит в черном чехле, под стать одежде, играет на ней по ночам, мешает всем спать, и дверь никому не открывает; Микки получил наследство, купил дом, посадил перед ним лимонное дерево, и теперь ходит с полной сумкой вечно-зеленых лимонов и всем их предлагает; внук Бекки научил ее кататься на мотоцикле, но недалеко; и все остальное, чего не было в прошлый раз, а в этот – уже есть. В такие моменты я чувствовал, что расстояние между всем нами и Реувеном сохраняется, но что-то все равно меняется – наклон головы, полуоборот в нашу сторону. Мы не встречаемся взглядами, но теперь их линии пересекаются где-то в этом пространстве, масштабы которого так и остаются для нас неясными.

«На прошлой неделе ходила по блошиному рынку, – говорит Бекки, – видела в одной лавке жилетку точно как у Реувена: вышитую павлинами, щеглами и фениксами. Не думала, что найдется еще одна такая».

...«Вчера на вокзале видел человека – со спины точь в точь Реувен. Еле нагнал его, а у него – темные очки в виде двух грампластинок, лица за ними не разглядеть. Наверное, не он. Конечно, не он. Но Реувену такие очки бы точно понравились».

«Говорят, встречают в городе Реувена. Наверное, все-таки кто-то похожий на него».

«Помнишь Боаза, водителя такси, голубятника? Он рассказал, что подвозил Реувена, и что тот какой-то сам не свой был. Молчал все время, и в окно смотрел так, будто он здесь впервые».

Реувен Хацвани выходит на бульвар, останавливается и оглядывается по сторонам. Он садится на свободную лавку. На таких же лавках рядом с ним сидят люди, их фигуры неподвижны, только ветер, налетевший с моря, треплет им волосы. Реувен чувствует, как воздух касается его лица.

## Нина Хеймец

### Происшествие с Шаулем Азулаем

Шауля Азулая собрали по кусочкам. В данном случае, это, к сожалению, не было гиперболой. Мы помнили тот страшный вечер, вначале – ничего особенного не предвещавший, скорее, наоборот, безмятежный. Есть, если оглядываться назад, такие ровные течения, мерные потоки, где легкий бриз, где все в равновесии – и именно они подносят тебя к точке обрушения. Вот Шауль Азулай и обрушился. Облокотился на перила – четвертый этаж новооткрывшейся парковки, полумрак, фосфор линий. Перила, как выяснилось позже, строители забыли прикрепить к бетону. И привет. Поток исчез, вместо него были вспышки: далеко внизу – тускло блестящий под лампами дневного света пол, на нем черный мультипликационный контур с согнутыми в коленках, словно в беге, ногами; серая дверь пожарной лестницы с окошечком-иллюминатором, от толчка ударяющаяся ручкой о кафель стены – пробежав два или три пролета, я слышу, как она захлопывается за нами; переливающийся красный полукруг вокруг головы Шауля, его волосы слиплись, лица я не помню. Красное переносится на стены и потолок мигалкой подъехавшей скорой. Воздух тоже красный. Потом – не стало и вспышек: кровать, на ней тело Шауля Азулая в трубках и отверстиях. Датчики отстукивают пульс и другие жизненные показатели. На другом конце коридора кто-то сдавленно плачет. В капельнице подрагивает капля прозрачной жидкости – никак не сорвется вниз. Шауль Азулай открывает глаза.

\* \* \*

Свет сначала окутывает, потом – ослепляет, потом – отступает. Подрагивающий белесый диск опускается за горизонт, и тут же возникает над ним снова, но вокруг все равно сумерки – серая завеса, словно из миллиарда мечущихся мошек. В воздухе не успевают исчезать их тени, сетка ходов-вен. Тени оборачиваются своей изнанкой, плывут мерцающими точками, сигнальными ракетами гаснут. Усилие ведет насквозь, как в классиках, когда сверкающая на солнце шайба пересекает нужную черту вместо того, чтобы остановиться на ней, и оказывается в просторном квадрате.

\* \* \*

Когда Шауль выписывался из больницы, все – врачи, медсестры, санитарки – вышли его провожать. Шауль шел по коридору к входной двери, за которой его ждала жизнь – как волна, которая приходит на опустевшую береговую полосу, и забирает с собой в море все, что там находилось. Это было чудо, с такими травмами не спасаются. А Шауль был жив. Вот он идет, вот он улыбается, немного натянуто, потому что сил пока что мало, но теперь-то они будут прибывать. «Ты жив», – это было первое, что он услышал, открыв глаза. И с тех пор это слово звучало вокруг него как эхо – жив, жив, жив. После, когда я встречал Шауля, «жив» всплывало у меня в голове раньше его имени.

\* \* \*

В тот день я увидел Шауля в городе. Я стоял на проспекте Намира и ждал, пока сигнал светофора на пешеходном переходе сменится на зеленый. Был один из последних дней лета, когда в повисшем над улицами рыжевато-марево вдруг ощущаются неровные нити прохлады.

Я не знаю, когда Шауль вышел на дорогу. Мотоциклист объехал его на полной скорости, едва не врезавшись в белый микроавтобус. Водители сигналили Шаулю, но он, казалось, не замечал того, что происходило вокруг. Шел быстро и ровно.

В следующий раз мы увидели Шауля в новостях. Недалеко от его дома произошла перестрелка – два дилера не поделили клиентов. По телевизору показали съемку камеры наблюдения, укрепленной в нескольких метрах от места происшествия. Изображение было зернистым, мелкие движения скрадывались, и поэтому казалось, что почти все застыло – ветки на ветру, плывшее над улицей облако, все это остановилось. Двигались лишь человеческие фигурки и цифры хронометража внизу экрана. Двое стреляли друг в друга, один из стрелявших находился так близко к видеокамере, что в момент, когда он нажал на курок, изображение дернулось и на долю секунды исчезло – картинка стала ослепительно белой. Потом все вернулось, но стрельба продолжалась. Застигнутые врасплох прохожие прижимались к фасадам зданий, кто-то лежал на земле, закрыв руками голову. И тогда на перекрестке появилась знакомая фигура. Кажется, мы уже что-то предчувствовали, о чем-то догадывались, потому что узнали Шауля Азулая за доли секунды до того, как подрагивающие линии и тени сложились в контур – идущего человека. Его движения были одновременно стремительны и безмятежны. От неожиданности стрелявшие опустили пистолеты, но затем перестрелка возобновилась. Шауль уходил по улице. Я смотрел на его спину, пока она не слилась с рябью экрана, не растворилась в ней, не распалась на серые пульсировавшие точки.

Тогда мне показалось, что я понимаю, что происходит. Тот поток, который принес Шауля к катастрофе, к точке обрушения на бетон, сам не срывался в эту воронку. Он возобновлялся прямо за ней, и Шаулю каким-то невероятным образом удалось снова в нем оказаться. Поток мчал его, и на это раз Шауль уже знал, чувствовал его упругость, понимал силу ветра, который толкал в спину, но с ног не сбивал и вообще, похоже, не менял своей скорости.

Шауля видели купавшимся в зимнем море. Для февраля было не так уж холодно, но волны в тот день были особенно высокими, нависали над берегом, обрушивались на него с таким звуком, как если бы на садовом дереве одновременно шелестела бы тысяча серых птиц, а затем – выплескивались на набережную. В одной из таких волн на берег vyplыл Шауль Азулай. Как ни в чем не бывало он надел сухую одежду, оставленную на скамейке аккуратной стопкой, – пока Шауль к ней ни притронулся, никто ее и не замечал – и, насвистывая, скрылся в одном из уводящих от моря проулков.

Я беспокоился за Шауля и однажды решил сказать ему, что понимаю про поток, который несет его прочь от воронки. С другой стороны, есть еще и удача, статистика, а он уже однажды остался жив вопреки всем шансам. Мы сидели в одной из забегаловок недалеко от промзоны, где тогда работал Шауль. День был жарким. На вылинявшей желтой футболке Шауля расплзлись пятна пота. На столике перед нами стояли стеклянные стаканы с черным кофе. Кажется, это был первый хамсин той весной. Столешница была затянута песчаной пылью. Шауль время от времени проводил по ней ладонью, обнажая потемневший от времени и осадков пластик, но спустя несколько минут прореха затягивалась. Он молчал, а потом сказал мне: «Все так и есть, но наоборот – я умер. Только, – говорит, – я еще не знаю, что со всем этим делать». У меня перехватило горло. Получалось, что мы все это время принимали желаемое за действительное. Падение с высоты не прошло для Шауля даром, и теперь вот – безумие, расстройство тончайших механизмов восприятия; даже, казалось бы, не утрата связи с действительностью, а лишь изменение знака этой связи с плюса на минус. И ты уже совершенно один, тень.

– Открыл глаза, но уверенности не было, – продолжал Шауль, – как определить умер ты или нет. Как знать наверняка? – он пожал плечами, – Но что-то определенно изменилось

– соединение линий; взаимоотражение поверхностей; то, как все выглядит. Словно все ровно освещено, молочно-матовый такой свет, а его источника нигде не видно, как головой ни крути.

Зрительный нерв пострадал, – подумал я.

– А потом я вдруг понял, в чем дело. И один из побочных эффектов – неуязвимость. Что еще со мной может случиться, сам посуди.

Поначалу я пытался переубедить его, но попробуй, докажи кому-нибудь, что он не умер. Как это нередко бывает с сумасшедшими, Шауль тут же находил неоспоримые контраргументы для любых моих доводов. Получалось, что неуязвимость оставалась единственной ниточкой, которая все-таки связывала его с нашим миром. За ней тоже проходил поток. А кто стоял под парусом; кто балансировал на гребне волны; куда уводили скрытые под течением пропасти, к какому источнику света тянулись водоросли – все это оказывалось не так уж важно. И я понял, что Шауль ни в коем случае не должен узнать о том, что остался жив.

Имя Шауля продолжало мелькать в новостях. Вот он в центральной Африке, в пораженной чумой деревне. Радиус отчуждения – тридцать километров. Военные патрули по периметру. Умиравшие тянут к нему шеи, распахивают рты, и Шауль Азулай закапывает в каждый из них исцеляющее лекарство, маслянистые янтарные капли. Вот он, не суетясь, заходит в охваченный пожаром дом и выводит оттуда целую семью: мать, дочь и задохнувшуюся одноглазую бабушку. Он даже не накинул на себя защитное одеяло. Каким-то образом ему и это сходит с рук. Вот он по поддельному паспорту едет в Дубай и, обманув бдительность охраны, забирается на шпиль Бурдж-Халифы. Любого другого разорвал бы в клочья постоянно бушующий на такой высоте ветер, но на Азулае – специальный костюм из особо-прочной синтетики, тайная разработка NASA. Никто не знает, куда ему пришлось проникнуть, и кем прикинуться, чтобы ее раздобыть. Шауль вытягивает руки в стороны, – под мышками у него – перепонки. Он летит вниз, стремительно набирая скорость, с каждой секундой все больше превращаясь в смертоносный снаряд, пока воздушное течение не подхватывает его и, крутанув как щепку, несет дальше, к кромке пустыни. Из пузырячатой ткани выстреливают тысячи сияющих парашютиков, и Шауль Азулай плавно опускается на крышу одного из приземистых каменных строений. Вот он, натренировав мышцы по специальной программе, впивается в трещины отвесной скалы подушечками пальцев и висит на ней гигантским черным пауком – еле заметной точкой, неразличимой в навалившейся на нее свеху темноте – если смотреть из ущелья.

Однажды я подумал, что, наверное, ошибался: подвергая себя опасности, Шауль Азулай искал возможность вернуться к нам, в мир живых. Ведь у воронки – две точки выхода и, соответственно, возможны два направления движения. Так он, во всяком случае, мог рассуждать. Поэтому я почти не расстроился, когда до меня дошли известия о его смерти – нелепой, от несчастного случая, которого вполне можно было избежать. Пропать увела Шауля, воздух подхватил его, стопами были ему звезды, глазами – долины.

## Нина Хеймец

### Служба изъятия деталей

– Ничего не забыли?

Дина сражается с замком чемодана. Встала на чемодан коленом. Правый замок щелкнул, а левый так и не закрылся. Встала двумя коленями. В глубине чемодана что-то хрустнуло, но левый замок все же застегнулся, правда щелчок был слабый – кто знает? Дина отходит от чемодана, но потом возвращается к нему, открывает левый замок и пытается зарыть его снова – «как следует». Для этого она встает обоими коленями на его левую половину и наклоняется в сторону. «Как мотоциклетный гонщик на повороте» – думает Базиль, войдя в комнату. Он несет чемодан к выходу; по дороге, свободной рукой, подхватывает две нейлоновые сумки. На одной из них желтая полустершаяся утка, подмигивая, открывает зонтик с рыбками. Дина обходит пустые комнаты, проверят, плотно ли закрыты окна. Базиль заводит машину. Отъехав от города, они сворачивают на проселочную дорогу, машина подсакивает на колдобинах. Дина замечает, как буквально из-под колес в сторону метнулся небольшой бесцветный зверь. Потом они останавливаются, выходят из машины. За их спинами – зарево над городом. Перед ними, в отдалении – тлеет костер. Дина спотыкается на каменистой тропинке, но восстанавливает равновесие. Базиль раздувает огонь куском картонной коробки. Он приносит из машины чемоданы и сумки и, размахнувшись, кидает их в костер, один за другим. Дина и Базиль едут по шоссе. Оно не освещено, в свете фар вспыхивают указатели-отражатели. Базиль нажимает на акселератор.

– Стоп, – говорит Иссахар. Он щелкает кнопкой проектора, и на экране замирает кадр: крупным планом раздвижной гаечный ключ, – клиент (снова щелкает кнопка, на экране появляется фотография улыбающегося Базиля) одолжил этот ключ соседу, Давиду Нагари, за день, буквально, до того самого авиарейса – отказ шасси, жесткая посадка, двое погибших (фотография спасательных машин, окруживших самолет. На заднем плане что-то тушат пожарники. Щелчок. Фотография Дины и Базиля, внимательно смотрящих в объектив). Казалось бы, полезная вещь – пользуйся ей и будь доволен. Или – положи ее в шкаф с инструментами, и пусть себе там забывается. Так нет ведь. Этот Давид теперь хранит гаечный ключ в ящике своего письменного стола, то и дело открывает этот ящик, берет ключ в руки, закрывает глаза. В эту секунду под веками у него становится пусто, в пустоте ничего нет, но есть движение, скорость, которую можно чувствовать, но нельзя определить. Он вздрагивает, открывает глаза. Потом снова их закрывает и вспоминает Базиля – вот он машет ему со своей веранды; вот идет вечером навстречу – на улице пахнет влажной от росы пылью; вот он протягивает ему этот вот ключ. Давид вздыхает, возвращает ключ в письменный стол.

– Вот, что происходит, когда дело пущено на самотек, – говорит Иссахар, – когда, простите, по-дилетантски оставляют позади детали. Это якорь, – восклицает он, указывая на экран. От якоря никуда не денешься, так и будешь к нему возвращаться, пока о тебе, наконец, не перестанут вспоминать, и тут уж – как повезет. Некоторым даже перерождаться приходится; только – что это за жизнь, – теперь уже вздыхает сам Иссахар.

Изображение на экране сменяется белым квадратом. Пустая бобина продолжает со стрелком крутиться. Этот звук каждый раз напоминает мне заводную мышь – почему-то синего цвета, в которую мы играли с приятелем во втором классе. Мы запускали ее под сметенными в кучу опавшими листьями и слушали, как она жужжит и шуршит где-то там, внутри. Мы загadyвали, с какой стороны она выберется наружу, и поджидали ее там. Нам удавалось угадать примерно в половине случаев. Иногда мышь не выбиралась наружу, а застревала под листьями. Нам приходилось разбрасывать их, чтобы ее найти. Однажды мы, разворошив таким образом

листья, нашли рядом с мышью древнюю медную монету. Потом приятель куда-то делся. Наверное, переехал, я уже не помню. Меня беспокоит, не является ли заводная мышь деталью. С тех пор, как меня приняли на эту работу, все больше предметов кажутся мне деталями, и я вынужден сосредотачиваться, перебирая и тщательно проверяя в своей памяти всех, кого я могу вспомнить, глядя на них. Я поделился этой проблемой с Зоаром – опытным коллегой, из наименее заносчивых – он лишь похлопал меня по плечу, сказал: «Welcome to the club, man», – и достал из своего шкафчика фляжку с виски и две пузатые рюмки.

\* \* \*

Мы отправляемся на задание. Я замечаю, как, проходя мимо зеркала, Миа чуть замедляет шаг, рассматривая свое отражение. Ей очень идет наша форма – черный двубортный плащ с застегивающимся поясом, черная широкополая шляпа, надвинутая на брови. Если отвернуть лацкан – это делают быстрым движением, тут же возвращая лацкан ан место – становится виден блестящий эмалевый значок с аббревиатурой «С.И.Д.» – Служба Изъятия Деталей. Это – мы.

\* \* \*

...Джек выходит из лифта на парковку, весь увешанный пакетами с покупками. Утро пятницы, в молл съехался, кажется, весь город. Он с трудом нашел место, а сейчас еще и вынужден искать машину – забыл, где припарковался. С Джеком в последнее время это все чаще бывает, с тех пор, как он пересел в джип Стивена. Вспоминает, чья это была машина, и словно проваливается куда-то, только Стивен перед глазами, до болезни и во время. Он даже ловит себя на том, что сердится на Стивена за это его завещание. Подумывал продать джип, но как-то неловко все же. Ага, кажется, нашел. Справа должна быть пожарная лестница с гнутой ступенькой – ее-то он как раз запомнил. Лестница на месте, а вот машины – нет. Джек замирает, не может поверить своим глазам. Он роняет пакеты и бежит к будке охраны. Дежурный смотрит на мониторы и пьет растворимый кофе из картонного стаканчика. Пятнадцатью минутами позже, просматривая вместе с начальником смены запись камеры наблюдения, Джек видит себя в центре пустого прямоугольника, со всех сторон окруженного машинами и неожиданно испытывает облегчение.

...Али провожает последних покупателей и закрывает мешки с пряностями. Сначала чабрец, потом – бадьян, затем – заатар, корицу и куркуму. Он замечает, что в лавке что-то изменилось. Точно. Дедушкин портрет – был, а теперь его нет. Висел под потолком, напротив входа в лавку, а теперь вместо него – темное пятно на выцветшей от времени стене. Недоумевая, кому мог понадобиться дедушка, Али выскакивает из лавки на улицу. Почти все магазины уже закрылись. Улица пуста, никого подозрительного нет. Пожимая плечами, Али возвращается внутрь. Дедушку он почти и не помнит, за исключением одного случая: Али совсем маленький, они с отцом идут дедушке навстречу. Дедушка несет на голове огромный мешок с паприкой. Что-то происходит – то ли хулиганы, то ли – мешок бракованный, но бумага лопается, и дедушка оказывается в эпицентре папричного облака. Он начинает чихать, из его рта и ноздрей выбиваются струи красного воздуха. «Мой дедушка – дракон», – понимает Али. Уже трудно сказать, сколько прошло лет, скоро у него самого будут внуки, но до сих пор, закрывая вечером мешок с паприкой и открывая его утром, Али вспоминает ту историю. Али снова смотрит на темное пятно на стене. Он запирает лавку и идет домой.

...Элизабет лихорадочно ощупывает карманы куртки. Не показалось: кварцевой бусины нет. Это был подарок Джеки, и она всегда носит эту бусину с собой. Она чувствует, как в груди становится еще более пусто и тяжело, чем раньше. Дома Элизабет раздевается, аккуратно складывает на стуле одежду и ложится на кровать. Она не спит, в комнате постепенно темнеет,

но Элизабет не включает свет. Через несколько дней она замечает, что, закрывая глаза, не видит Джекки, как раньше. Там, куда устремлен ее взгляд, есть чернота, но Джекки там нет. Элизабет по-прежнему больно, но боль – другая. Тень боли, а не сама боль. Болит сильно.

\* \* \*

...Давид Нагари просыпается от звонка в дверь. Часы показывают половину пятого утра. Еще не начало светать. Продолжают звонить. Давид Нагари встает, скрючив ступни – пол холодный, идет к двери и спрашивает, кто там. «Дяденька, дайте попить!», – голос детский, но то ли осипший, то ли – прокуренный. «И в скорую надо позвонить, и пожарникам», – добавляет другой голос – тоже еще мальчишеский, но с оттенком будущего баса. «Ну, я вам покажу!» – кричит Давид Нагари. Он распахивает дверь, но детей за ней нет. Есть – вспышка, ослепительный вихрь. Нестерпимо яркий свет заполняет комнату, за ним идет черный дым с красными искрами. В дыму мелькают какие-то скафандры, локаторы, шлемы, кольчуги, скалятся чешуйчатые морды.

...Давид Нагари приходит в себя на берегу моря. Смеркается, солнце опускается за горизонт. Небо становится багряно-розовым, Давида Нагари тошнит. Он поднимается на безлюдную набережную. Вдалеке он видит освещенный оранжевый киоск «Гослото». Давид Нагариковыляет к нему. В его кармане оказываются несколько купюр. Он покупает лотерейный билет, садится на лавку рядом с киоском и пытается задремать. Ему зябко. От его рубашки пахнет костром. На следующий день выясняется, что Давид Нагари выиграл в лотерею целое состояние. Он покупает себе новую одежду, рубиновые запонки и отправляется в кругосветное путешествие на семи-мачтовом паруснике. Давид Нагари больше никогда не возвращается в свой город. Он и не вспоминает о нем, разве что о соседях, супружеской чете, разбившейся на самолете, но и их лица постепенно теряют объем и цвет, становятся как кадры фильма, если его показывать в кинотеатре при включенном свете.

\* \* \*

Базиль и Дина набирают скорость. Вспышки светоотражателей дробятся на короткие острые лучи, проникают в кабину, заполняют ее. Лицо Базиля – сетка из пульсирующих лучей и темноты внутри. Дина знает, что и ее лицо стало таким. Базиль отпускает педаль акселератора – она больше не нужна. Перед ними – нет горизонта, в каждой точке – жизнь и смерть, они летят сквозь пространство миллионами мерцающих стрел, они и есть – пространство.

## Нина Хеймец

### К теории некоторых изменений

– Что мы имеем, – Иван Наумович дернул за тесемки; они, вместо того, чтобы развязаться, затянулись гладким узлом. Иван Наумович пытался подцепить его, нащупать в нем слабую точку. Папка выскользнула из рук, спикировала на пол. От удара одна из тесемок оторвалась от картонного клапана, папка распахнулась, обнажив содержимое: мертвеца в майке и пижамных штанах в мелкий серый ромбик. Мертвец лежал на асфальте, подложив под щеку левую руку. В отдалении был различим отштукатуренный фасад дома, шахта подвального этажа, забранная чугунной решеткой, и – в левом углу снимка – палисадник с вторгшейся сбоку в кадр всклокоченной сухой веткой и стена с тем самым прямоугольным пятном, из-за которого, собственно, на место происшествия и был отправлен патруль. Приехав, патруль обнаружил, что происшествий – два.

– Как минимум два, – тихо говорил Иван Наумович. Шеф морщился и делал вид, что ничего не слышал, что не было никаких слов Ивана Наумовича – ни звука, ни волны, ни движения.

– Вызов поступил в два часа пятнадцать минут ночи. Сообщалось о краже антикварного предмета. Предметом было зеркало в покрытой светлым лаком деревянной раме с плексиглазовыми инкрустациями в виде пароходов, паровозов и воздушных шаров. Владелец предмета – сонный пожилой мужчина – зачем-то вывесил его в том самом палисаднике. «Чтобы было у входа в дом что-нибудь красивое», – как он объяснил следствию. Амальгамное покрытие в нескольких местах отслоилось и осыпалось, образовав серые пятна, – Иван Наумович шелестел пергаментными страницами протокола, на которых, с обратной стороны, проступала чернильными разводами подпись потерпевшего, – Более того, нижняя половина зеркала искажала изображение. Потерпевший был уверен, что в таком состоянии оно никому не понадобится. И вот, только пятно на стене и осталось, – ухмыльнулся Иван Наумович.

– Переходите к главному. Что нам известно о погибшем?

– Тело было обнаружено выехавшим по вызову о краже зеркала патрулем. Незадолго до происшествия погибший ел варенье из абрикосов. Признаков насильственной смерти не выявлено. Документов, удостоверяющих личность, на месте преступления – если преступление было – не оказалось. Опрос соседей ничего не дал: никто ничего не слышал, с погибшим не знаком, в последние дни ничего подозрительного на улице не замечал.

«Не замечал, – повторял про себя Иван Наумович, – но должна же быть зацепка, подсказка». Он разглядывал фотографию в увеличительное стекло – мелкие детали заглатывали пространство, перерождали его в себя: трещина на асфальте, ногти погибшего, перья облаков на крупинчатом небе, обороненная кем-то медная монета, фрагмент пустого гнезда на сухой ветке. «Почему заброшенные гнезда выглядят иссохшими, – думал Иван Наумович, задерживая стекло над переплетением серых прутьев – будто живое гнездо поливают, и в нем проклеиваются птицы». «Должна же быть подсказка, зацепка», – он всматривался в тусклые окна, стараясь не нарушить ни одной линии, обводил ногтем распростертое на тротуаре тело.

«Здесь что-то не так, – говорил он, вглядываясь в прямоугольник сохранившегося цвета на стене за палисадником, – и этому должно быть объяснение». Иван Наумович оборачивался, смотрел на уходящую к горизонту улицу – контуры балконов, квадраты автобусов, ребристые силуэты светофоров, сгустившееся, растворявшее линии марево там, где лента дороги поднималась на гребнях холмов. Иван Наумович замечал перламутровое крыло небольшой птицы на

проезжей части, рядом с тротуаром; терялся в толпе любопытных у машины скорой помощи; следовал ступенчатыми линиям высоковольтных проводов; видел расплывшуюся спину хромой старухи, через неравное количество шагов останавливающейся, чтобы восстановить дыхание. На него вылетал велосипедист, сложившийся над рулем огромным беззвучным насекомым. Взгляд велосипедиста, устремленный в точку света где-то далеко впереди, был как натянутая струна, вибрировавшая в унисон с фасадами домов, корой деревьев, сгустившейся кровью в капиллярах. «Что-то должно здесь быть», – повторял Иван Наумович, и тревога поднималась в нем, проходила сквозь сердце черным дымом, окутывала ветром от движений тысячи крыльев, таких быстрых, что никому и не уследить – только идти, пусть ветер ведет тебя.

Неизвестного похоронили на кладбище неизвестных. Потерпевший повесил новое зеркало вместо прежнего. Иван Наумович заглядывал в него. Все было на своих местах, даже старуха-сердечница удалялась вглубь перспективы с той же неравномерностью. Иван Наумович вспомнил одну свою давнюю поездку. Они оказались на развалинах древнего города. Им говорили, что круглой площади, на которой они стояли, не должно было быть: все остальные улицы пересекались под прямыми углами. Но именно в той точке прямой угол был невозможен из-за особенностей ландшафта. Поэтому и там построили круглую площадь: находясь на ней, почти невозможно было заметить отклонение от плана. Получалось, что Иван Наумович стоял в центре оптической уловки. То, что она скрывала, давно разрушилось и скрылось под землей. Пахло нагретыми камнями, хотелось пить. С железнодорожного вокзала невдалеке доносились объявления о прибывающих поездах. Над развалинами следовала стая диких уток – точно на север. Он вспомнил ощущение: одновременное несоответствие всех элементов друг другу и – единственно возможная их гармония. Из окна автобуса еще долго были видны мощные колонны круглой площади, когда-то подпиравшие галерею. – Зеркало, шеф – говорил Иван Наумович, – На улице, ведущей к месту происшествия, есть сбой в ритме, незаметное глазу искажение линий. Потерпевший укрепляет напротив кривое зеркало – по наитию, природу которого следствию пока не удалось установить. Отражаясь в кривом зеркале, пространство выправляется – недоразумение, изменившее судьбу многих, кто об этом и не подозревает. Зеркало исчезает, и вот: крыло без птицы, человек без предыстории, и это только то, что нельзя было не заметить. «Сколько же таких зеркал вокруг нас, – говорил Иван Наумович, – сколько поверхностей, сфер, осколков, спасительных случайных сочетаний». Шеф угощал его коньяком из блестящей фляжки.

\* \* \*

В палисаднике на месте происшествия Иван Наумович отражается в зеркале. Он рассматривает орнамент на раме – танцующие журавли и взлетающие самолеты. За его спиной улица уводит к горизонту. Иван Наумович разворачивается и делает шаг. Он догадался о смещении линий, он может ловить этот неровный ритм, двигаться ему в такт, спотыкаться, замечать, что правая половина тела медленнее левой, скользить вдоль фасадов, улыбаться никуда не смотря, идти на дым, видеть лица – тени в углублениях, волна от тени к тени, внутри тени – ледяное поле, сияют звезды, у обочины ошетинились замерзшие ветки низкорослого растения, глаза выбежавшей навстречу собаки отражают свет, где-то замедляет ход электричка – оборачиваться и смотреть в спины прохожих, распадаться в кронах деревьев, рассыпаться в солнечных бликах, появляться снова, отражаться в стеклах, идти внутри ветра. Иван Наумович замечает на стене дома маленький прямоугольник. Подойдя ближе, он видит выцветшее лицо неизвестного. Иван Наумович читает объявление – ушел, имя и фамилия, обращаться по адресу. Солнечный диск касается горизонта, ветер не утихает, он никогда не утихает.



## Ирина Абрамидзе

### Царица

– Шмулик! – кричит Роза Самуиловна из окна. – Шмулик!

Седой Шмулик в линялой майке сидит на старой колоде под плетью винограда и играет с соседом в шахматы.

– Ну чего тебе, Роза? – кричит Шмулик недовольно. Между указательным и большим пальцами у него зажат слон.

– Где у нас таблетки от живота, Шмулик? – кричит Роза Самуиловна. – Я, кажется, что-то не то съела.

– В левого шкафчика правом ящичке снизу, в том, что на кухне сбоку от плиты. – кричит Шмулик, не отрывая взгляда от доски. – Синенькие такие. Нашла?

Роза Самуиловна нарочно громко гремит дверцами, чтобы во дворе было слышно, что она ищет, ищет.

– Нашла! – кричит Роза Самуиловна наконец. – Спасибо, Шмулик!

Живот у Розы Самуиловны не болит, живот ведет себя смирно. А вот глаза болят всякий раз, как случится поглядеть в зеркало. Роза Самуиловна идет слегка вразвалочку к старому трюмо, шаркает по шерботому паркету плюшевыми тапочками. К зеркалу подходит, зараннее зажмурившись. Небольшо бьется обо что-то мягкое, наверное, о стул. Наступает на чью-то обувь, наверное, Шмулика. Снова бьется обо что-то твердое, больно, наверное, о край трюмо. Ощупывает пухлыми короткими пальчиками скользкий и холодный край зеркала с левой стороны и с правой, находит шершавые облупленные зажимы. Отступает немного назад и распрямляет спину, втягивает живот.

Внутри собственной головы Роза Самуиловна выглядит молоденькой девочкой лет тридцати с выпирающими ключицами и неловко торчащей косточкой за левым плечом. Роза Самуиловна маленькая и легкая, только в шкафу висит чья-то чужая одежда. Где ее лиственные платья для лета, куда все делось? Роза Самуиловна открывает глаза. Никакой косточки на ее покатоном округлом плече не видно.

Роза Самуиловна идет на кухню, набирает холодной воды в стакан и заглатывает синенькую таблетку. В глубине квартиры раскатисто дребезжит телефон. Роза Самуиловна бежит, бежит к нему, хватая веселую ярко-розовую трубку и кричит туда: «Да!»

Из трубки говорят: «Бу. Бу-бу-бу», а Роза Самуиловна молчит и наматывает на палец витой провод.

Крутит и крутит, пока провод не заканчивается, а палец не становится лиловым. Тогда Роза Самуиловна возвращается на кухню и кричит:

– Шмулик, они снова не придут! Они не придут, Шмулик! Где у нас таблетки от сердца?

– В тумбочке, той, на которой графин, от кровати справа в среднем ящичке, такие желтенькие, – кричит Шмулик и поднимает обеспокоенное лицо к окну.

– Роза, тебе там плохо? Мне подняться к тебе, Роза?

– Да сиди уже, – кричит Роза Самуиловна.

Сосед ставит Шмулику шах и мат. Роза Самуиловна идет в спальню и ложится на аккуратно застеленную кровать. Желтенькое покрывало с кистями сминается под ее тяжелым телом. Сердце у Розы Самуиловны не болит, сердце ведет себя смирно. Роза Самуиловна не знает даже, как это бывает – когда болит сердце. Но оно делает маленькое тело Розы Самуиловны тяжелым и это так нехорошо с его стороны. Роза Самуиловна переворачивается на бок и вытягивает из тумбочки средний ящик, из ящика вынимает желтенькие таблетки и запивает одну водой из графина.

– Роза! – слышится со двора приглушенный голос Шмулика. – Роза, ты нашла таблетки?

– Да! – кричит Роза Самуиловна из спальни и откидывается на спину. На месте сердца распускается приятная прохлада, Роза Самуиловна лениво чертит прохладным легким пальцем круги и петли на животе и путается, путается в петлях выюнка, пачкает пальцы пылью и слушает запах меда. Да ну их к черту, думает Роза Самуиловна и улыбается. Глаза бы мои не смотрели на них, а уши не слышали вранья. Даже и думать о них не стану больше. Вообще не стану думать! И тут же вопреки самой себе думает, что Шмулик, вероятно, не расслышал ее там.

– Роза! – встревоженно кричит Шмулик со двора и Роза Самуиловна понимает, что права.

Роза Самуиловна поднимается с кровати, плывет на кухню и всем, что от нее осталось, высовывается в окно.

– Ну, Шмулик, ну чего ты так орешь, – весело говорит она.

– Ты нашла таблетки?

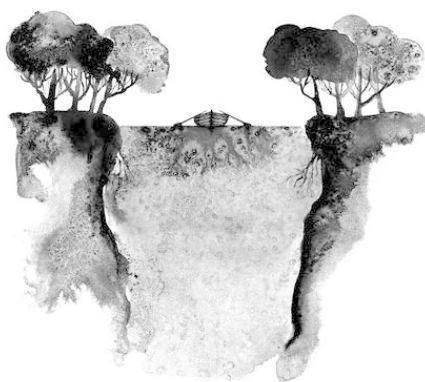
– Нашла, я все нашла! Не переживай. А вот где у нас еще лежат таблетки от головы, ты помнишь?

– На кухне в ящичке стола, такие красненькие, – кричит Шмулик автоматически и обеспокоенно моргает. – Слушай, Роза, я поднимаюсь к тебе! Ты слышишь? Что там с тобой происходит? Ничего не пей! Я поднимаюсь!

Роза Самуиловна спешно подлетает к столу, выдвигает ящик, пачкая старую белую краску желтоватыми травяными пальцами. Шмулик поднимается по лестнице, когтями оставляя неглубокие борозды в старой древесине, и лестница за ним прорастает травами. Старая колода во дворе нервно потеет смолой. Роза Самуиловна запивает красненькую таблетку остатками воды в стакане. Гремит незапертая дверь, Шмулик заходит в квартиру.

– Роза? Что с тобой происходит? Роза! Стой, дерзкая! Иль я тебе не муж?

Улыбка Розы Самуиловны несколько секунд висит в воздухе, а затем медленно исчезает.



## Ася Датнова Радио Таволга

Никогда они не ходили на лодке вверх по реке, только вниз. Он в тельняшке и с удочкой, она в бирюзовом купальнике и шляпе с мягкими полями. Дачники, но и местным хорошо медленно сплавляться, бросив весла, останавливаться на песчаных пляжах для купания, удить под корягами, и внизу когда-то был мост на ту сторону, брод, санный путь, а сверху – никогда ничего не было.

То место, где сходятся две реки, называется Иордань. Зимой тут прорубь. Одна речка узкая, мелкая, ледяная в июле из-за ключей, заросла камышом и водорослями и на всю глубину прозрачна. Другая широкая, мутная до осени, цвета чая с молоком, теплая. Когдаходишь в воду с берега, первым обнимает холод, поднимается до подбородка, но идешь, глядя вниз – к ноге подплывает здоровенный карась, на дне тускло светится крошево перловиц. А потом подхватывает течение, и ощутима граница перехода, теплая жидкая стена, и потом уже плаваешь туда-сюда, на другой берег, до ветлы. Но на это место редко кто приходит, оно дальше, все купаются на Песках, особенно которые с детьми.

Видели их, как они шли от плотины вверх – сперва по большой воде, на моторе, а потом свернули и пошли по мелкой, на веслах – мотор там не опустить, цепляет траву, а дальше бородатые коряги, упавшие стволы. Из любопытства, наверное, пошли, туристы. Главное, на самом закате. Она встала на дне лодки на четвереньки, показав пацанам на берегу жопку в голубых бикини, свесилась через борт, глядя в близкую воду. И так они медленно плыли, он вел веслом как шестом, пока не скрылись за поворотом, а там уже и мотор включили на малой скорости, слышно было.

Я люблю представлять, что они видели, когда поднимались. Там сперва три давно затонувшие лодки, поросшие зеленью, слизью, илом, потом прошуршали через камыши, и опять открытая вода, речка выворачивает в поля, деревья расступаются, и все хорошо видно, особенно если закатное солнце, как в телевизоре, если в нем показывают аквариум – под водой водоросли тонкие, длинные, как волосы у баб, а другие похожи на кактусы и коричневые, фигурные, в мелких пузырьках воздуха, кажутся серебряными, и еще другие длинные, вроде осоки, слабо колышутся, а есть острые зеленые, и стоят ровно, как копыя, снова бревна, на них изумрудные комья бадяги, подмытые корни, и между всего этого движутся стайки рыб – их тут не поймать, если только сетью, но не крючок, червяк, блесна – на наживку они не идут, еды навалом, и караси толсты, головли толсты, а щуки все по течению ниже.

Потом они вышли на плес, где черный ил. Створки раковин там огромны, с ладонь, и с густым черно-синим синим отливом, кобальт, уголь, лазурь, так что она спрыгнула в воду, погрузилась в ил до колен, и шарила в ледяной воде – сразу муть со дна, чернота, но что-то манит, что-то сквозь светится – а никак не достать, что достал – блекнет, крошится. И может быть, он спрыгнул и стал помогать, и даже ныряли, неглубоко ведь, хотя грязно, а может, ворчал и поплыли дальше, оборачивались еще в поля, думали – успеть вернуться до заката. И это качание под водой, все бросишь и смотришь, как оно туда-сюда, туда-сюда, красота такая... Чешуя на рыбах поблескивает, мерцает жабья икра. А дальше я не знал, только думал много.

Что они выберут, когда вернутся – вдруг тут ни села не будет, ни речки, одна старица, и тут на тебе, баба в купальнике. А может, они теперь ундина с каким-нибудь, допустим, кто там у них, ихтиандром. Если достали со дна мерцание, которое не дается человеку, а манит, и если потом бросили же его обратно, то, может, приедут на Пески наши местные головотяпы, распахнут машины, врубят музон, а глядь, его как невидимая рука приворачивает, и из динамиков приятный голос: «Говорит радио Таволга, передаем сигналы точного времени, куку, куку, и о погоде, начинаю ветер...» И вот они уже причаливают против ветра, он загорел, она, наверное, придерживает шляпу.

Симпатичная пара, потому жду их назад. Зачем вверх ходить без нужды, может, им местные про гигантского налима рассказали, который стоит у самого истока, в запруде под ивой, и человеческим голосом разговаривает, такой он старый? Местные за ним пробовали плавать, но только лодки в реке пооставляли; да и нет там никого, враки все, я знаю, я же и был налим.

## Ася Датнова

### На свету

Мы ходим на охоту за светом, и это поистине самая тихая охота. Начинается в наших краях в сентябре, когда разъезжаются дачники, увозят детей и внуков в города, в школы и детсады, пустеет река и все ее песчаные пляжи и отмели, вода становится густой как желе, ледяной, в воду входят только редкие рыбаки. Особенно хорошо, если год не грибной – тогда и в соснах сухо и пусто, и весь бор меж стволов залит сиянием на рассвете, на закате и при тумане.

За ним ходим с плетеными корзинами – нет такой корзины, которую он не наполнит, не перельется через край, не потечет из всех дырочек – только так его и можно донести, чтобы свободно дышал. Или можно растворять его в воде, доставать из реки теми же корзинами, трехлитровыми банками, ведрами – но в осенней воде после сезона еще остались детский смех, плеск, женские визги, мужское уханье и кряхтение, разговоры, ссоры, обиды, все, что утекало по воде, что она забирала. Остается взвесь. Мы берем чистый, из воздуха.

Ценим осенний именно, самый тихий, проливается на березы, осинник, листья падают и каждая под ногой серебряная монета, а на ветках еще золотые, красные. Воздух как чистые линзы. Есть и лунный свет, полнолуния, душный летний и крахмальный зимний, розовое весеннее свечение. Но нужный только осенью – после голосистого лета, в безлюдье, бесптичье, безнасекомье. Паузу перед шорохом дождей.

Приносим его домой, разливаем по столу, высушиваем в облатки. Облатки даем под язык.

От них внутри немеет, а потом наступает прозрачность. Помню наших первых пришедших. Одна была – все время плакала, лежала, слезы затекали в уши – перепутала, где кончается она, а где начинается остальной мир, чувствовала всех сразу и мышь, которую ест кошка, и лягушку, которую глотает уж, в кафе пообедать не могла, людей чувствовала тоже, а человек к такому плохо приспособлен. Другой кричал – забирайте ваше золото молчания, боялся, что перестанет работать, думал, надо мучиться. Убедили покоем и волей.

Это Боглаз придумал, он поднимал птиц на крыло, у него все их перья были сочтены, позвал нас – кто без ума от лошадей, кто первый среди рыб, кто по змеям – по кускам собирали человека, по подобиям. В людях только одна я тогда немного разбиралась. А теперь у нас самый известный на десять ближайших слоев мира, потому что первый, центр реабилитации людей – пока маленький, на шесть коек, но к следующему полувеку рассчитываем на расширение.

## Ася Датнова

### Хожалка

Над городом металась тьма – а дальше, за городом, снег на полях был белым, подсвечивал горизонт, и долго после заката стояло тусклое свечение. Из села Балашов был виден краткой цепью огней – фонари на участке однополосной трассы, над мостом, а село с моста, напротив, видно не было никогда: поля и тьма. Зимой солнце над горизонтом включалось, как поворотник дальнобоя на трассе ночью, красное, и сразу входило в тучи, оставляя неуютного цвета розовую полосу.

В детстве коровы ей были похожи на облака, пятнистые грозовые тучи, дождевое вымя. Ночкой звали белую корову с единственным черным пятном во лбу. Тяжелые облака коров шли на закате по центральной улице села, поднимая до неба мягкую пыль, та в закатных лучах светилась, дышали бока дирижаблей, катили перед собой золотой дым, и корова в тумане звучала как пароходный гудок, говорила: «Ма!» По первым морозам их резали, раскладывали туши на снегу.

...Ее ма была дояркой – в селе боялись бывших доярок, они громко кричат с матами. Когда ма заболела, лечиться не поехала, от города отказалась, говорила «поскорее бы» и «вот как все надоело». Потом стала видеть, что печка в избе пляшет, а то женщина какая-то приходила и пела «Упали туманы в поля за курганы». Хожалка у ма была россомаха – пол обметет тряпкой крест-накрест, а не как следует. На каждую соцработницу в селе приходилось в среднем по десять старух, и Рита переехала в село. Ма перестала ее узнавать, звала «кормилка» и «купалка».

Балашов все равно обрыд – в зиму ледяной и продуваемый, с огромными елями на аллее гипсовых бюстов, с пешеходной зоной и вокзалом, без общественного туалета, но с драмтеатром в дореволюционном здании красного кирпича. Симпатичный Денис закончил актера театра и кино в музыкальном училище города, а до того работал монтировщиком сцены; он съездил отдыхать не как все, а в Индию, привез душевные аромапалочки, с восторгом рассказывал космогонию. Кали, иссиня-черная женщина с алым языком, как у овчарки, была примерно как Родина-мать.

В детстве крашеный розовым и серебрянкой клуб работал, привозили кино. В зале курили, на туманном экране ходил слон. Ма так любила кино, что назвала Гитой, пришлось потом менять. Когда получила в наследство от ма дом, продала и взяла билет, в Индии хотя бы тепло.

Ехала из аэропорта, стоило ли, раздолбанная дорога, лужи с утками, люди спят на земле – все знакомое. Дели пах бедностью, гарью, благовониями, выхлопами. Коровы подъедали мусор с асфальта. Коровы были другие – длинноногие, мелкие, тощие. Но женщины были одеты ярко и пахли приятно. У храма по зеленой ряске фонтана бегали цапли. Хотелось домой.

Познакомилась в отеле с Валею из Тюмени, Валя знала английский, говорила, Индия инкредибл, Мумбаи треш, а тру Индия лежит дальше, звала с собой по ашрамам. Поезда опаздывали и в плацкарте было битком: «Главное, понять, пристают к тебе или нет – они и просто так прижаться могут, их миллиард, они в тесноте привыкли».

Был океан, выносил на песок водоросли, и два индуса подсматривали, как они купаются. У слонихи Лакшми были маленькие внимательные глазки, а кожа в пятнах как кора платана. Слониха благословляла хоботом, клала его людям на макушку, за деньги. Потом была Ама, темнолицая, полная, пожилая – всех обнимала, обняла, говорили, уже несколько миллионов человек. Обнималась, как ма, с толстым мягким животом. В Валиной скороговорке «моя дорогая» стало звучать как «ма дурга».

Потом ашрам Вале надоед, потому что Ама попсня и кругом одни лесбухи.

Вернулись в мутный и душный Дели, двинули в Ришикеш. Искали садху, чтобы идти с ним в куда-то в горы на севере, Гита просила, чтобы он был хотя бы в штанах. Такого и выбрали среди разных, старых, средних лет, с волосами, свалянными в седые дреды, в набедренных повязках, раскрашенных, лысых, с выбеленными лицами. Чтобы был как отец, которого не было.

Ганг был порой похож на Волгу, в небе ходили кругами коршуны.

Купили крепкие трекинговые ботинки, пели сат нам, мое имя истина, а через два дня Валя плакала на привале – соскучилась по сыну, оставила его с бабкой в Тюмени, найти бы европейца какого нормального, или америкоса. Ее один швейцарец звал на зиму на пуджа-бич, он там рядом снял дом, обещал ей оплатить комнату на месяц. А садху тут этих как собак, и все мошенники. Звала с собой. Но в горах было лучше.

Влажный жар сменился сырым холодом, кровь стучала в висках. Муравейники храмов и статуи с подведенными глазами, паломники у лингамов яростно кричали «хар, хар», как грачи, на горы садились облака – у нее не было раньше гор, только степи, океан еще похож на степь, но странно, когда нигде нет горизонта. Садху хотел домой, она расплатилась, деньги кончались, но еще надо было пойти выше на гору, на зеленые склоны, мимо бурной белесой речки. Было пасмурно и дождливо, глаз отдыхал на неярких оттенках, в сером тумане, вверху ждал снег.

Садху тащился за ней, показал пещерку на склоне горы, потом взял ее руку и положил себе на штаны. Она орала на него, как доярка. Он испугался, смутился и побежал от нее вниз по склону, мелкий и худой, тряс руками, его было жалко. Присела на камень, и вместо мантр думала: шашкой стальной блестя предо мною Хопер свои воды уносит в моря – пел будто бы краснознаменный хор лягушек.

Садху все-таки он вернулся, отвести толстуху вниз, но не нашел никого в пещерке. Позвал – с горы тяжело спустилась к нему телка, большая, с раздутыми боками, белая, с черным пятном на лбу.



## Татьяна Замировская

### Тибетская книга полумертвых

Жизнь у меня теперь происходит в три смены, как и работа. Каждая смена – два дня. Понедельник и вторник я работаю в Орше в конце 90-х. Мне 17, я собираюсь поступать на журфак. Я работаю в коммерческом магазине маминых друзей в полуподвальчике на улице Кирова: упаковываю игрушки и сладости в полиэтиленовые пакеты, давлю на чугунную синюю клавишу кассового аппарата с шарманочной весенней рукоятью, отсчитываю поштучно сигареты подросткам. Мне платят 10 долларов в неделю.

Среду и четверг я работаю в Москве середины двухтысячных редактором мужского журнала «Эллипс». Про нас с Сашей шутят, что у мужского журнала два редактора, и обе женщины. Саша – самая прекрасная женщина в мире, и мы с ней все время ругаемся из-за разных подходов к редактуре: она самостоятельно переписывает все материалы, а я отправляю автору на доработку. Мне платят полторы тысячи долларов в месяц, тысяча уходит на оплату однушки в двенадцати минутах пешком от станции «Аэропорт», и все эти двенадцать минут идешь будто и правда через длинный бесконечный пустой аэродром – поля, стадионы, грязные взлетные полосы, усыпанные рыхлым снегом.

Пятницу и субботу я работаю в Нью-Йорке две тысячи десятых продавцом косметики из Бразилии – в смысле не я из Бразилии, я из Орши (хотя я никогда не озвучиваю это в ответ на традиционный дружелюбный и ранящий меня вопрос о том, откуда я с таким смешным, умильным акцентом), косметика якобы из Бразилии. Каждое утро я прикрепляю к маленькой стойке снаружи магазина манговый крем для рук с рожком-диффюзором, и уже к полудню прохожие выдавливают его без остатка и без совести. Часто крем и вовсе сразу крадут, но я не должна из-за этого переживать, я наемный работник. На обед я хожу в мексиканский ларек «Кафе Хабана» через дорогу; крошечная пухлая пуэрториканка Лилианна спрашивает у меня: «Как обычно, куриная кесадилья с бобами и рисом?» и я, сглатывая скатавшуюся, сухую слюну – словно банановой корки нажевалась – киваю. Я ненавижу есть одно и то же, но, чтобы не обидеть Лилианну, повторяю: «Да, мне как обычно»; дернул же меня черт когда-то два дня подряд заказывать кесадилью. После работы я могу зайти в бар выпить с подругой. Мне платят 15 долларов в час.

Выходные же я провожу в Будапеште. Точнее, выходной; он у меня только один, но мне хватает. Мне не нужно работать. Я останавливаюсь в гостинице, чаще незнакомой (и это странно). В Будапеште я потому, что приехала туда в надежде встретиться с Михаилом, точнее, случайно встретить его на одной из улиц – около Оперы, около легендарной надписи «Катя, я люблю тебя. Петя» под Цепным мостом, около центра современного искусства в том странном еврейском кварталчике, на безлюдном ночном острове Маргарет с поющей чужие гимны траурной беседкой, в которой я однажды вздумала провести душную летнюю ночь, пока не загремел помпезно гимн и я не запуталась в спальнике, как ночная мохнатая бабочка в коконе – не выбраться, не улететь. Я всегда и обязательно встречаю Михаила, и всегда случайно, где бы я его ни встретила. Вначале он злится, что его нашла. Говорит, что я его выслеживала, преследовала, что я сумасшедшая, одержимая, ненормальная. Потом он говорит, что все же скучал по мне, и я немного расслабляюсь, а ведь всю рабочую неделю я ужасно напряжена. Мы идем ужинать в суши-ресторан, потом катаемся на трамвае по горкам Буды, потом отправляемся ко

мне в гостиницу и там занимаемся любовью, потом засыпаем, потом я просыпаюсь и мне пора на работу: понедельник, выходной закончился, впереди трудовая рабочая неделька.

Это длится достаточно давно, но мне трудно понять, как именно долго: я не могу считать недели, и мне ничего нельзя взять с собой. Даже если я буду записывать недели в блокнот, я потом не найду этот блокнот – как-то пыталась записывать недели в Орше в школьной тетрадке по химии, серой, с прожженными соляной кислотой клеточными листочками, но на следующий день обнаружила, что тетрадь пустая, поэтому записывать перестала: какой смысл, если следующий день будет таким же, с такими же изначальными условиями: пустая тетрадь, неприятные шуточки вокзальных дядек, мрачный ужин с родителями, не чавкай, говорю я отцу, встала и вышла из-за стола, нашлось тут говно меня учить, кто ты такая со мной так говорить, встала и вышла говорю. Встаю, выхожу. Когда я жила в Орше с родителями на самом деле (в том, что, вероятно, и было моей жизнью), после таких ситуаций я все записывала в дневник, который прятала среди басовых струн фортепиано, осторожно отогнув деревянный засов и отодвинув массивную лаковую и гулкую нижнюю крышку. Теперь нет никакого смысла – я знаю, что следующим утром проснусь в мире, где не было вчерашнего дня. Я быстро, если не мгновенно, поняла, что двухдневная смена состоит из двух не связанных друг с другом дней. И все эти дни как бы в случайном порядке: может быть, я так и живу на самом деле свою жизнь, в случайном порядке. Или все люди всегда так живут, в случайном порядке, а времени нет.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.